

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Ефим Гаммер
(г. Иерусалим, Израиль)

ЭМИГРАНТЫ ИЗ АТЛАНТИДЫ ЗЫБУЧЕГО ВРЕМЕНИ

(повесть нашей жизни с фрагментарным вкраплением отрывков из авторских очерков) *



Ефим Гаммер родился в Оренбурге, на Урале, в 1945 году. Жил в Риге. Закончил Латвийский госуниверситет, отделение журналистики. В Израиле с 1978 года. Автор 15 книг прозы и стихов. Печатается в Израиле, России, США, Франции, Германии, Дании, Финляндии и в других странах Европы. Лауреат ряда международных премий по литературе. В том числе Бунинской, Москва, 2008 год, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007 год, «Золотое перо Руси», Москва, 2005 год. В 2010 году Оргкомитет Международного конкурса «Национальная литературная премия Золотое перо Руси» наградила Ефима Гаммера именной медалью на постаменте с надписью, что он является одним из 50-ти «Лучших авторов нового тысячелетия». Награда вручена за создание нового жанра — повести и романа ассоциаций.

Член редколлегии «Приокских зорь», постоянный автор журнала.

Глава шестая

- Твоя девушка приходила,— сказала мама, убирая со стола.
— Моя Лариса?
— Наша Руфиночка, дочка Кларочки с Большой Арнаутской.
— А-а, это та одесситка, что приехала погостить в Ригу?
— Тетя ее — рижанка!
— Мне от этого не легче.
— Послушай, не спеши так со своими глупостями. Тетя ее — эта твоя учительница по математике в вечерней школе. Мария Исааковна.
— Что с того, мама?
— А то, что Мария Исааковна сказала нашей Руфиночке: «Он из такой семьи, что бери его обеими руками и не отпускай!»
— И вы меня сразу отдали? — засмеялся я.
— Почему сразу? Ты бы слышал Руфиночку на пианино — Ван Клиберн, только без конкурса Чайковского и путевки в Москву.

* Окончание; начало см. в «ПЗ» № 1, 2013, С.162—184.

— Мама! У нее есть какие-то опознавательные знаки, кроме «пианино»? Фамилию у нее ты хоть спросила?

— Она такая активная, что я как-то забыла. А фамилия... фамилия... Должна быть еврейская. У Кларочки фамилия была Шварцман.

— В следующий раз спроси.

— Она тебе уже понравилась, да?

— Мама, ты мне нравишься с рождения. Но это не значит...

— Я тебя не гоню на ней жениться. Но присмотреться имей все же желание. Ты еще никогда не был в Одессе. А здесь такой случай... Поедешь, помотришь, познакомишься с родственниками. Они там все одесситы.

— И у меня одесситы. Может быть, я уже устал от одесситов, мама?

— Как можно устать от одесситов? У тебя уже температура? Посмотри на себя в зеркало — ты себя не узнаешь.

— Мама...

— Не доводи меня до могилы, а то я подумаю, что на твою голову уже случился солнечный удар. Посмотрите на него, он устал от папы и мамы.

— От одесситов.

— Это от дедушки и бабушки с папиной стороны, позвольте спросить? Это от дедушки и бабушки с моей стороны? От тети Фани и дяди Абраши? От Софы, Сильвы, Гриши? А сам от себя ты не устал? Запомни, не будь войны, то и тебя родили бы в Одессе! Я этому Гитлеру голову готова оторвать, что он загнал нас в эмиграцию-эвакуацию, и дети наши теперь, как иностранцы. Сильва — из Одессы. Ты — из Оренбурга, Боря — из Риги. Три заграничные республики в одной семье! Здравствуйте, приехали! Украина — Россия — Латвия! И как это я не заметила, что рожала каждый раз на другой нашей родине. А если завтра война, если завтра в поход? Вам ведь, Боже упаси, воевать придется. Сильва — за Украину, ты — за Россию, Боря — за Латвию. И кто тогда свой, кто тогда враг? Господи, поедем лучше в Израиль.

Глава седьмая

Что кормит надежду?

Если надежда беззуба, ее кормит душевная усталость. С ложечки. Кровью.

Если надежда зубаста, ее кормит болезненное честолюбие. С ножа огрызками сердца.

Моя надежда — зубасто-беззубая, с разбитой челюстью. Кормлена кровью моей и сердцем. От пуза. Досыта.

Мне было тридцать три года. Весил я семьдесят килограмм. При росте — один метр, шестьдесят три сантиметра.

Мои легкие были занавешены табачным дымом.

Сердце заморожено неосуществленными фантазиями — благодатными удобрениями для микроинфаркта.

Череп расколот вдоль лобовой кости. И по сей день ощутим под кожей рубец заживленной трещины.

Позвоночник проколот хирургической иглой. Во имя пункции.

Все эти прелести висели на мне, как жернова на шее утопленника.

Я вышел на ринг, чтобы не утонуть в житейском море.

Глупые Дон Кихоты двадцатого века. Сами себе мельницы. Сами себе рыцари Печального образа.

— Что вам нужно для отчаянной решимости?

— Ничего, кроме безумия, — отвечают Дон Кихоты.

— Что вам нужно, евреи, для Дон Кихотского безумия?

— Ничего, кроме отчаянной решимости,— отвечают евреи.

Пока у еврея есть хоть малейшая лазейка в какое-то проблематичное «завтра» — пусть уже не для себя, а только для детей — он будет далек от безумия. Весь свой ум он направит на то, чтобы подвести крепкий фундамент под воздушные замки «завтрашнего дня». Всю свою энергию он направит на то, чтобы возвести прочные воздушные стены. Воздух — самый благодатный строительный материал для еврея. Никогда за тысячелетия рассеяния он не был дефицитным. Бери его пригоршнями — созидай на века!

Отбери у еврея его древнейшую историю...

Он создаст новейшую, интернациональную.

Отбери у еврея его исторически сложившуюся культуру...

Он вольется в чужую.

Отбери у еврея полноценное счастье...

Он сумеет из неполноценного построить милый сердцу мирок.

Но не смей отбирать у него воздух.

Польститесь на этот строительный материал, и он впадет в безумие. Превратится в Дон Кихота и начнет творить поступки с отчаянной решимостью.

У меня отняли все — вплоть до воздуха. Мне оставили только сальный жернов на шее, ибо еще не пришло время конфисковать и его — личное мое приобретение. И я с отчаянной решимостью впал в безумие.

— Бокс!

Что я мог противопоставить противнику — этому сальному жернову?

Сотню побед в прошлом? Но они ничем не отличны теперь от поражений.

Спортивные регалии? Звания чемпиона Латвии, Прибалтики? Но они занесены донным песком реки, впадающей в Лету?

Что? Ничего, кроме жажды жизни.

Месяц назад я проводил папу и маму в Израиль.

Три недели назад меня вызвали в отдел кадров и настоятельно порекомендовали отразить свое негативное отношение к поступку родителей. В печати.

Две недели назад я подал заявление с просьбой об увольнении «по собственному желанию».

Неделю назад был выброшен из редакции.

Сегодня получил вызов из Израиля. От папы и мамы.

И вышел на ринг.

Раунд первый...

Болеотворные раны мне апперкот в солнечное сплетение.

Я валидол за щеку.

Отравленные легкие — по мне одышкой.

Я в отместку — спурт.

Раунд второй...

Вздых жены, ожидающей меня с тренировки в обнимку с аптечкой.

Мое — «обойдется!»

Обеспокоенные взгляды друзей: «Ты на себя непохож. Сдохнешь!»

«Выживу!»

Ехидные замечания поэтической братии: «Безумству храбрых поем мы славу!»

«Парнас российский дрязгами засеян!»

Раунд третий...

Но где мой противник? Нет его, растворился на брезентовом полу ринга. Бесследно.

Бесследно ли? Разве жировое пятно на тенте — не его след?

След. Однако...

Ладно, поживем — увидим. Не увидим, так услышим.

Слышу:

— Занялся боксом? Опять? Ну-ну! Значит, допекли, дальше некуда.

— В соревнованиях участвовал? В каком весе? Во втором полусреднем? Ого-го — 67 кг. И мозги не высыпали? Жив остался? Что? Выиграл? Что выиграл? Олимпиаду? Ври-ври, да не зави... Ах, заводскую... Тогда, конечно...

— Машешь все кулаками? Маши-маши, дуракам закон не писан! Выбьют тебе мозги, станешь как все. Нормальным станешь, без претензий и выкрутасов.

А время идет. Время жизни, время смерти и воскресения.

Два месяца назад я проводил родителей в Израиль.

Директор завода, на котором работал мой папа Арон, рвал на себе волосы. Его завод, знаменитый на весь Союз опытный завод авиационной промышленной № 85 ГВФ сорвал поставку продукции на Кубу.

Той самой продукции, которую от начала до конца изготовил мой отец собственными руками, полагая, что она еще требует доводки и усовершенствования, и поэтому будет в виде опытного образца представлена только на ВДНХ, без запуска в серию и последующей перепродажи за рубеж.

Той самой продукции, которую не воспроизвести по записям технологов, надзирающих над изобретателем, создающим «из головы» — без чертежей — это чудо техники. Помимо записей нужны еще руки моего папы Арона. А он теперь — иностранный специалист. Ему теперь доллары надо платить за работу, а не «зряплату» в рублях.

Месяц и три недели назад меня вызвали в отдел кадров.

— Как же так? Почему вы — журналист! — не разъяснили родителям? Не перевоспитали, не уберегли их от отъезда? Получается, сквозь пальцы, так сказать, смотрели на их моральное разложение...

— С ними все в порядке! Живы они, живы! И будут жить до 120!

— На чьи подачки? Сионистского лобби? Разве это не коварные происки? Разоблачите! Пригвоздите их к позорному столбу! Вот вам перо в руки. Гвоздите! Приравняйте перо к штыку, как просил Маяковский!

— Увольте меня от таких просьб...

И уволили. Насовсем. Из редакции. Из жизни. Из своего времени.

А время идет. Его не уволишь.

Время идет. По мне. Как рашпиль.

Сдирает с меня шкуру вместе с мясом. Под певучий аккомпанемент гонга.

Было семьдесят. Стало гораздо меньше.

Были руки пухлыми. Стали гибкими, как змеи. И в каждом кулаке по нокауту.

Было более сотни боев в прошлом. И все ныне ничем не отличимые от поражений. Стало всего пять боев. Но каждый весом в золотую медаль.

Первенство Рижского судоремонтного завода ММФ.

Спарринги, спарринги, спарринги.

Февраль — май. Минус десять килограммов лишнего веса.

Тренер Сакумс:

— Через неделю республиканские соревнования, первенство Центрального Совета спортобщества «Даугава». Выступишь?

— Да.

— Что ж, будем готовиться.

Парилка. Скакалка. Груша. Спарринг.

Тренер гонял меня на лапах, как надежду на лотерейное счастье. Бывший тяже-

ловес-нокаутер вынимал хрипучую душу из бывшего мухача-технаря. Бригадир такелажников Рижского судоремонтного завода ММФ, организатор боксерской секции, добряк с могучими бицепсами — Саукумс. Влюбился однажды и навсегда в бокс. И подобно всем остальным влюбленным мог говорить только на одну тему — о боксе.

Меня он приветил поначалу разве лишь потому, что я был корреспондентом газеты «Латвийский моряк», и нам было о чем потолковать, кроме интервью, вспомнить о былых встречах на ринге, именитых соперниках, громких победах и обидных поражениях. Вспомнить о том времени, когда мы жили в боксе, а не ушли из него, казалось бы, навсегда. Я попросился в секцию. Перспектив никаких, но все же... Надежда юношей питает, даже если они великовозрастные «бородачи-возвращенцы».

Саукумс не питал на мой счет никаких иллюзий. Но видя, как с меня от тренировки к тренировке сползают жировые одежды, уверовал в невозможное.

С чего начинается вера? С чуда.

Чудо первое...

Я лежал на сером тенте ринга, зная, мне уже не подняться. А если и подняться, то ради того, чтобы на носилках — в травмпункт.

«Все! Конец! Ребро сломано!»

Такой боли я не испытывал сроду. Казалось, стоит лишь пошевелиться — и смерть.

— Боже! — докатилось до меня из глухонемого мира.

И боль ушла, чтобы вернуться после финального гонга. С победой.

А затем рентген и — «Прекратить тренировки. Трещина в ребре».

Я перетянул грудную клетку эластичным бинтом — туго, как, вероятно, упаковывают мумию.

— Бокс!

Чудо второе...

В рижском Стрелковом парке, под люминесцентным светом звезд, я вел бой с тенью, легко передвигаясь по аллейке, чтобы не повредить потревоженное ребро.

— Ишь ты, боксер! Посмотри на него, Вася. Борода как у Троцкого, а кулаками машет, будто мало его били.

— Мало тебя били? — деланно поинтересовался у меня Вася, пыхтя в лицо винным перегаром.

— Отойди. Мешаешь, — вздохнул я, понимая, что драки не миновать. Ох, как мне не хотелось драться в канун соревнований!

— Вася, «борода» нас обижает.

— А ну-кась.

И Вася своей рачьей клешней вознамерился заграбастать... Но до бородки не достал. Интуитивно я ушел в сторону и четко положил боковой слева на его бугристую скулу. И Вася тихо сполз под ноги дружбана, который в растерянности уже поблескивал стальным лезвием. Финка стрельнула в меня стремительным огнем и, оцарапав кожу, упала вместе с владельцем.

Я остался жив.

Мне нельзя было погибать. До срока. До чемпионата.

Афиши — «Первенство республиканского ЦС Даугава». Участвуют сильнейшие боксеры Латвии» — выманивали болельщиков в Дом спорта, расположенный у знаменитого городского канала на улице Вингротаю, 1.

Началось...

Вес полупулегкий, 57 кг.

Сотня прошлых боев — не в счет. Нынешних боев — 5. Побед — 5.

Жеребьевка.

— На ринг вызываются...

Мой противник — мастер спорта Кириллов, призер первенства профсоюзов СССР. Возраст — 25 лет, 87 боев, 79 побед.

В коридоре, идя к рингу, я мысленно представляю себе противника. Какой он? Высокий или коренастый? Как ведет бой?

— Вот он, — шепнул мне Саукумс.

Кириллов сидел, расслабившись, в кресле, благосклонно взирал на спящего массажиста. Широкая грудь, покатые плечи, приглаженные вазелином брови. Он был в двух шагах от меня, но я был для него, как бы за горизонтом. Надо ли маститому присматриваться к новичку с пятью боями, да еще если этот новичок в пенсионном для спорта возрасте? Кириллов, даже не глядя на меня, знал своим, выпестованным в турнирах знанием, что такое напускное равнодушие к предстоящей схватке должно парализовать меня, лишит воли к победе, выдуть из мышц моих силу.

Это он знал твердо.

Это знал и я.

Но этого не знали мои мышцы, заново «рожденные» в 1978 году, после десятилетней отключки от бокса. Эти мышцы знали другое. Они знали, каково непроизвольно сжиматься в приемной отдела кадров, когда после очередного — «нет вакансий» — не разрядишься ударом по такому же напускному равнодушию. Мышцы знали, какой болью отдается в каждой клеточке тела нерастроченная сила, как тяжело тащить ее на погост несбывшихся надежд. Неподвластные разуму, они жили в ожидании гонга своей, особой жизнью, питая себя радостью предстоящей разрядки.

— Боксеры на центр ринга!

Вышли. Пожимаем друг другу руки. Ловим на себе взгляды болельщиков. Вернее, Кириллов ловит, я вылавливаю. Кто будет болеть за «старика-бородача», явившегося неведомо откуда, чтобы вернуться в родную обитель с парочкой нокадаунов в зубах? Нет таких? Есть! Мой брат Боря. Он будет болеть за меня, несмотря ни на что. Но болеть за меня — это оставаться в одиночестве среди переполненного зала. Это слышать — «бей бороду!» — и кричать до надрыва, прорезаясь сквозь гвалт: «Фима! Фима-а-а!» Это быть против всех и верить до конца в то, во что по логике вещей верить немислимо. Но Боря помнил меня в лучшие мои годы. А память такого рода — прочный фундамент для веры.

— Секунданты за ринг!

Боря медленно приподнимается на скамейке, напряженно вслушивается в тишину.

Гонг!

Теперь...

Мы — я и Кириллов — сближаемся, настороженно, вкрадчиво. По диагонали ринга. И весь-то путь — восемь шагов. Мне четыре. И ему четыре.

Раз, два, три... Четвертый шаг — в сторону и, перекрываясь левой, бью, резко, четко, правой в голову.

Старый мой прием, отлаженный. Если без промаха, то...

Не промахнулся! Угодил в самую точку.

И «поплыл» Кириллов, не понимая, по какому случаю сыплются на него удары «наглой бороды».

А «наглой бороде» надо вести бой расчетливо, чтобы не израсходоваться до срока.

Левой — по лбу и в корпус. Правой — по скуле.

Все! Нокадаун!

Упал Кириллов. Упал мне под ноги, в своем, красном углу.

Сейчас откроют счет. И передышка. Мне.

Но нет! Слишком невероятно, чтобы Кириллов — этот нокаутер с крепким, ли-

тым из мускулов телом — упал на брезент от кулака никому ныне не ведомого «старика».

И судья Зига Ясинский поднимает Кириллова, обтирает его перчатки о чемпионскую майку, дает знать болельщикам, что парень не в грогги, а... просто-напросто — что? — ах, поскользнулся, видите ли, он на «ледовом» покрытии ринга. Оттого и упал. Но мы не в хоккей играем. Упал? Поскользнулся? Мне все понятно. И брату моему Боре понятно. Он вскакивает, машет руками, кричит:

— Нокдаун!

— Стоп! — сдергивают его назад на скамейку болельщики моего противника.— Уймись!

— Нокдаун!

— Будет тебе нокдаун! — злится его сосед, скорей всего, «болельщик» моего противника.— Сейчас будет нокдаун. Твоему «бородачу». Костей не соберет. Кириллов, он знаешь какой, разозли его только...

Разозлить? Его? Куда уж больше?

Ринг не знает ничьих.

Кириллов практически не знает поражений.

Что остается мне?

Судья Зига Ясинский свел нас вновь в центре ринга.

— Бокс!

Кириллов был зол, как смерть на человека.

Четыре года назад я разозлил смерть. Диагноз: сотрясение мозга, черепно-мозговая травма.

Четыре года назад, пробыв в неподвижном состоянии почти месяц на больничной койке, я учился ходить заново, как младенец. Было это в августе 1974-го. И вот сегодня, в мае 1978-го, мне доказывать самому себе, что долго рядиться в «младенцы» я не имею права, если мне выпало жить.

Три месяца назад, в феврале, я надел боевые перчатки, чтобы, если мне выпало жить, вновь победить смерть, но теперь уже в виде физической немощи и духовной слабости. Мне надо было подготовить себя к отъезду в Израиль — в страну, которую в случае войны мне предстояло защищать с оружием в руках. Так что я победил смерть не для того, чтобы проигрывать Кириллову, будь он даже зол, как все черти, не заполучившие мою душу.

Злость Кириллова мечется в его глазах. И атака нижется на атаку. Перчатки мелькают, как увесистые гантели.

— Кириллов! Кириллов!

— Фима!

Хрип в легких, скользкий до свиста. Сухо в горле.

И вдруг замечаю, не достает вражья злость до меня, выжигает протуберанцами не грудь мою, не лицо — воздух. Как же так? Молодость за него. Сила за него. И реакция на удар... она всегда лучше у молодых. Мне тридцать три. Я стар для бокса. Я... я... Последняя буква в алфавите. Что за меня? Память, закодированная в мышцах? Наверное, память...

Пять месяцев назад у моего отца спросили в Бресте. На таможне:

— Есть ли у вас с собой золото?

— Да,— ответил мой папа, старый одессит с юморной начинкой, углядевший подначку в обыденном вопросе советского служащего, задолбанного инструкциями и приказами. И показал обомлевшим таможенникам свои натруженные руки.

Выворывши газетного петита, пожиратели штампованных фраз и мыслей пропустили его в Израиль с каким-то суеверным ужасом, вдруг, с внезапной ясностью

осознав, что неприкосновенный запас СССР, самый оберегаемый и воспеваемый в песнях, открыто, без всяческих ухищрений, вывозится из страны. И его, как ни упорствуешь, не конфискуешь. Поздно!

Папин «золотой запас» уже в Израиле. Мой — еще в Риге. И я не жалея, делюсь им со своим соперником на сером квадрате ринга.

Правой в солнечное сплетение, левой апперкотом в подбородок.

Все! На этот раз все! Больше сил нет!

Где Кириллов? На коленях. Да-да, на коленях, у канатов. Качает его. И все же он с трудом поднимается.

Поднимается? Что же это, право?

— Счет! Счет! — кричит мой брат.

Но счет судья и в этот раз не открывает.

И в третий раз Зига Ясинский не откроет счет...

Много раньше, лет за 17 до этого, когда судья был еще ребенком, я боксировал с его старшим братом Бруно Ясинским. Но разве должен он помнить соперников старшего брата? Разве должен он помнить тех, у кого учился мастерству? А если и помнит, что это меняет?

Я пришел сюда, на поле боксерских ристалищ, из другого, полузабытого мира, где уже навечно распределены все регалии. О том мире позволительно ныне слагать легенды, приукрашивая былое, изымая из него неблагозвучные имена. Это мир мумий, своеобразный музей мадам Тиссо. Мумии могут лежать под музейно-стойким стеклом, могут стоять на постаментах, но ни при каких обстоятельствах не должны оживать.

Мой судья ничем не лучше других. И не хуже. В прошлом отличный боксер. Как и его старший брат. Просто он жил в боксе в то время, когда я якобы уже умер для этого вида спорта. Поэтому и память его атрофирована на предшественников.

— Бокс!

И гонг.

Кончен раунд.

Секундант Саукумс усадил меня на стул. Сунул под майку мокрую губку. И зашептал, стряхивая с полотенца в лицо мое брызги. Он шептал порывисто, заглатывая слова, стремясь скорей — всего минута! — впихнуть в меня все известные ему секреты бокса.

Но какие секреты? Мне не до секретов. Мне и без них ясно: время жизни, смерти и воскресения, умри или победи.

— Бокс!

И зал затих, еще не веря в меня, уже не веря в Кириллова.

Только один человек в зале знал, что победа будет за мной. Мой брат Боря.

После третьего раунда я не дошел до своего — синего — угла. Обессиленный повис на канатах, слыша вибрирующее, как затухающий гонг:

— Я же говорил! У него в каждом кулаке по нокауту!

«Это о ком? — подумал я. И понял: — Обо мне».

Мой секундант Саукумс вымахнул на ринг. Подхватил меня. Поднял под беспощадный свет многоламповой люстры.

— Чемпион!

Бывший тяжеловес поднял бывшего мухача, ныне полулегковеса. И долго стоял так, выпрямив над собой руки, будто победил он сам.

Через месяц, в июне 1978 года, было первенство Латвии.

Кириллов не вышел на ринг. Он бросил бокс.

Я вышел. И победил.

Первый раз я взошел на Пьедестал почета чемпионата Латвии в 1962 году, последний раз в 1978.

Свой боксерский марафон в Риге я начал при весе в семьдесят килограмм. Согнал девятнадцать, выигрывая поэтапно соревнования различного ранга. Сначала во втором полусреднем — 67 кг. Потом в полулегком — 57 кг. Последний бой в Рижском дворце спорта я провел на первенстве Латвии в «мухе» — 51 кг. Все мои противники той поры сегодня «на пенсии», а я остался в боксе и участвую в соревнованиях по сей день, хотя мне уже 65 лет.

Что кормит надежду?

Если надежда беззуба, ее кормит душевная усталость.

С ложечки. Кровью.

Если надежда зубаста, ее кормит болезненное честолюбие.

С ножа. Огрызками сердца.

Моя надежда — зубасто-беззубая, с разбитой челюстью.

Я не умею проигрывать.

Глава восьмая

Двойственность, эта прилипчивая двойственность эмигранта, да к тому же еврея, она существует, как ее ни гони...

Ты ее в шею — она тебе в душу.

Ты ее хлыстом, она тебя по шерстке.

Ты в нее камнем, она в тебя медовым пряником.

У тебя еще есть альтернатива. А у нее нет. Ей надо выжить в тебе, иначе кому она нужна, если отвергнута даже евреем.

Но однажды наступает минута, когда и у тебя нет альтернативы, и ты вдруг с детской ясностью понимаешь, что — все! баста! — ты еврей однозначно, как нож это нож, как взрыв это взрыв, как боль это боль. Ты еврей, и все — точка!

Это физически осязаемое понятие накатило на меня внезапно. И не за чашечкой кофе, не за пищащей машинкой. А в поезде «Варшава — Вена». В тот момент, когда еще хочется по привычке сгладить обстановку, выискать обходной маневр, улизнуть из своей однозначности. В журналистских командировках улизнешь от нее, скроешься за облизанными формулировками. На кинофестивалях, интервьюируя звезд экрана, тоже. Но в поезде «Варшава — Вена» врешь, не уйдешь! Что за тобой стоит? Ничего! Ни должности, ни звания, ни мировоззрения. И страна, в которой ты родился и вырос, не стоит за тобой. Сзади — пустота! Что ты представляешь для окружающих? Только то, что впитывает их зрение, чувствует их нос. Ты голенький, как в покойницкой. И будь ты даже омыт стократно, вражьи ноздри не обманешь. Будет пахнуть от тебя не лавандой, не лавровыми венками лауреата и чемпиона, а характерным, не воспринимаемым самим собой, духом. Каким конкретно? Я и сам не знаю, каким. Однако если он не выветрился из нас за два тысячелетия рассеяния, значит, очень стойким. И главное, неприятным для любого арийца, будь он немец, поляк — да кто угодно! Тем более что он стоит на своей земле, дышит своим воздухом, ест свой хлеб.

Он имеет полное право воротить нос.

Ибо когда ты стоишь на его земле, он вынужден тесниться.

Когда ты дышишь его воздухом, ему не достает кислорода.

Когда ты ешь его хлеб...

Впрочем, ты никогда не ел чужой хлеб. Однако это никому не мешало попрекать тебя лишним куском. Не потому, что жалко куска, а потому что надо же кого-то попрекать.

Стоп! К чему доморощенная философия, когда приспело время загружаться в поезд «Варшава — Вена».

Варшавский вокзал радушно выкатил его к перрону.

Окна вагонов приветливо улыбаются нам — паломникам веков, с чемоданами и саквояжами, вступившим в тот промежуток жизни, когда «вчера» осталось на рубеже двух миров, а «сегодня» еще не проступило в огнях израильского аэропорта.

Мы с нетерпением поглядываем по сторонам, выискивая проводника. «Братская Польша» — все еще «братская» для нашего, приученного к советским формулировкам мозга — затасовала его мощную, пятиведерную, налитую пивом до ушей тушу в полумгле наступающего вечера, в толпе носильщиков и пассажиров.

И мы в ожидании посадки могли присмотреться друг к другу: любопытно все же, как они выглядят, евреи разных республик?

О, евреи, евреи, рабы мимикрии! Как вы внешне изменчивы! Где ваш, типичный для сторонних наблюдателей антисемитского тупичка, разрез глаз? Горбатый нос? Брызжущие слюной губы?

Вот стоит передо мной бухарец, вылитый сын востока, в тюбетейке, с ковром, охватывающим шею, как хомут, с выводком детей и женой на сносках. Еврей? В паспорт не заглянешь...

Вот стоит передо мной худощавый старик с обожженным лицом. У какой печки он столь сурово обжегся? Не у той ли, из которой таскал каштаны для вышестоящего начальства? Но почему же на его груди нашивки за ранения? Почему пиджак вызывает как на пожар рында? Ах, орденами и медалями вызывает пиджак, призывает всех окружающих к почтительности. Еврей ли старик, вдетый в столь достопримечательный пиджак? Кто его знает... Еврей, как помнится из дразнилок, «воевали в Ташкенте».

Вот передо мной... Да, а чего это вдруг приглядываются ко мне? Голубые глаза? Светлые, каштанового отлива волосы? И всего-то — раз-два — почти нет чемоданов. Ясное дело, прикидывают, какого я рода-племени.

Что ж, придадим себе независимый вид. Независимость — лучший друг и товарищ в дороге, в особенности на первых порах, когда не знаешь, кто есть кто...

Я не знал, кто есть кто. Люди на перроне тоже не знали.

Проводник это знал превосходно.

Он появился.

Он навис над нами, как дамоклов меч.

— Мест нет! — сказал на неведомом языке, но очень понятно.

Заволновались все, забурлили.

— У нас билеты!

— Не действительны ваши билеты без посадочного талона, — невозмутимо пояснил проводник.

— А где взять посадочные талоны?

— В билетной кассе, на вокзале, — отвечал проводник.

Носильщики, гибкие, как хлысты, постегивали по ушам русскими словами:

— 50 долларов, найдем место. Баксы гони! Деньги! Деньги!

Деньги? Доллары? Так за все уплачено еще в Риге, в рублях, при покупке билетов.

— За все уплачено! — кричу проводнику.

И моя двухлетняя дочь Белла начинает плакать.

Мой трехлетний племянник Натан готов цапнуть зубами нехорошего дядю.

Нехороший дядя с нехорошей улыбкой нехорошо смотрит на ручные часы. Скоро, очень скоро отправление.

Я бегу на вокзал.
За мной бежит бухарец.
Далеко позади старик-орденоносец.
Касса. И финишный рывок.
Касса. И трепетное, с придыхом: «Мне нужен посадочный талон на поезд Варшава — Вена».
Под ложечкой сосет: «А что, если кассирша ни слова по-русски не понимает?»
Нет, она «разумет». Это я ничего «не понимаю».
— Нет посадочных талонов! Кончились! — говорит она и улыбается: на, мол, посмотри, разгоряченный марафонец, на улыбочку польской дамы. Это тебе истинный сервис, на западный лад — не хухры-мухры!
Посмотрел я на этот сервис, а потом на часы. И накатывает на меня, что вот-вот свисток паровоза, и «едем, едем, едем в далекие края» — без меня.
И опять рывок.
И опять — финиш.
А проводник — два метра в высь, два метра в ширь — по-прежнему неприступен. Полякам — пожалуйста. Евреям — ни в какую!
Поляки проходят мимо по перрону, косятся на нас:
— Жидовский вагон!
Наша бригада «зайцев поневоле» инициативно ищет «вход» к сердцу конвоира... оговорился, часового-охранника... тьфу!.. проводника. «Вход» — он же и «выход» из положения.
Кто попроворней, так это, конечно, старушенция в платочке, что бочком-бочком и в лапу носильщика вкомкала пятидесятку с портретом какого-то, по лицу незнакомого американского президента.
Кто поизворотливей, так это, конечно, бухарец. Влез с ковром на подножку, впихнул носильщику зелененькую.
А остальные? Остальные тоже изыскивают тропинку к сердцу носильщика, проложенную заморской «зеленью». Суют ему в рот долларовую «капусту», а он... Он не берет. Он, этот охотник за головами американских президентов, что красуются на баксах, уже требует не пятьдесят — сто. Пока я бегал туда-сюда, у них, видимо, девальвация произошла.
Куда теперь бежать? Дать сколько хочет?
«О, евреи! — восклицаю нутром, чтобы никто не услышал. — Где же ваша солидарность? С чего это вы терпите издевательскую девальвацию?»
А евреи уже и не евреи вовсе. Они уже — новое поколение хваленой мимикрии! — чувствуют себя на польский манер «жидами».
Старик-орденоносец цепляется за рукав проводника, чтобы не упасть от физической немощи, шамкает ему с рабской угодливостью:
— Я Польшу освобождал. От фашистов.
— Доллары! Доллары! Гони сюда бабки! — вполз в его обгорелое ухо носильщик.
Русскими словами вполз поляк в ухо еврея.
— Нет долларов. Я внукам отдал. Они едут в Америку. А я... Я... Зачем мне в Израиле доллары?
— Советский орден тебе там тоже незачем. Снимай-скручивай. Он из платины.
Старик дрожащими пальцами стал отвинчивать орден с драгоценным — в денежном эквиваленте — профилем Ленина.
И тогда я с братом Борисом, видя дрожащие пальцы старого солдата, видя, как начинают вращаться спицы колес, внесли его, втолкнули в дверь, побросали следом чемоданы, на них детей, схватились за поручни. И вдруг с ужасом осознали, что вкинули на площадку детей бухарца — не своих.

— Белла!

— Натан!

Носильщик — услужливый малый — детей на руки и бегом за вагоном.

— Доллары! Бабки! Детей в «капусте» находят — не забывай, а то напомним!

Гвалт и визг вокруг. Стоны, плач.

И брат мой Борис воткнул в пасть носильщика доллары, не считая, сколько выхватил из кармана. Забрал детей и рванулся, не глядя, в тамбур — на узлы, чемоданы, портфели.

Скорей бы протиснуться в купе, спрятать свое сокровище!

Спрятал. Затем и мы спрятались. «Ну,— думаем,— доберемся до Вены, а там...»

Какое «там»!

Здесь еще, оказывается, ничего не кончено.

Здесь еще, оказывается, не затаиться в раковине двойственности.

Здесь еще, оказывается, надо оставаться для всех евреем или жидом — вот и все многообразия превращений.

Проводник, будто трахнутый пыльным мешком по кумполу, ревет на весь вагон, заходится. Что он ревет? Чем он недоволен на сей раз?

Ах, орет он потому, что мы — я и брат мой Борис — обманули его ожидания. Обманули... Скорее, носильщик их обманул, смотав удочки в какую-нибудь варшавскую «Березку». Мы-то при чем? Все честь по чести, если пристойно ее упомянуть.

Орет он... И выясняется с опозданием, что мы не в ту лапу сунули. Главную лапу, самую волосатую, обделили.

Как же быть?

И мы вынырнули из купе, чтобы посмотреть, где он, буюк компромисса, и как до него, не потонув, легче доплыть.

Но пока мы глазели-искали этот буюк, нас залило волной осуждающих взглядов, злых фраз польских дам и их кавалеров с отвисшим пузом и стукнуло друг о друга, как два кремня. Искры из глаз, и в сердце. Наше сердце полыхнуло скрытым огнем, но так жестоко, как некогда танк попутчика нашего, старика с обожженным лицом, напрасно вызывающего медалями в надежде на снисхождение.

«Псякрев!» — донеслось до меня.

«Псякрев!» — донеслось до моего брата.

«Сукин сын!»

Нет, это не кто-то посторонний. Это я, это брат мой — «псякрев!»

Это мы, «сучьи дети», обманули порядочного человека, сунув не ему, а в чужую лапу деньги. Он к нам с душой, открытой нараспашку. А мы в нее — нож подлого жидовского коварства.

Кто?

Мы?

И кто это нам такое? Женщины, ухоженные дамы, направляющиеся на туристический променад в Чехословакию.

Женщины?

Какие же вы женщины?

Вы видели, как наших — еврейских — детей превратили в товар.

Вы видели, как детей наших попутчиков — еврейских детей — бросали на площадку. Бросали ваши носильщики. Деловито, ухватисто, как, наверное, бросали бы в печь крематория.

Вы все видели. И ни слова против?

В ваших глазах написано крупным шрифтом: «КАЖДОМУ СВОЕ», как на воротах Бухенвальда.

Что ж, выхода нет. Мы согласны на свое.
И мы вынули ножи.
Свои ножи.
Мы встали у двери в купе.
В свое купе.
Встали как на пост у заглохшей от нехватки топлива из «живого мяса» печи крематория.
Больше мы не будем подстраиваться под вас. Не будем искать сочувствия или понимания.
Мы евреи и только евреи.
Или мы евреи, или нам смерть!
И смерть — эта древняя богиня охотников на человека — вытащила из небытия обоим убийственных фраз.
— Куда податься бедному поляку, когда кругом одни евреи?
— Польше не по пути с евреями, потому что «куда жиды не повернуть, он смотрит в сторону древнего Иерусалима».
Польским дамочкам было не по пути с нами. Проводнику было не по пути с нами. Но он не мог сойти с поезда. Служба у него такая — быть попутчиком евреев.
Попутчиком?
Он счел нужным им не быть, скинуть нас с поезда. Он подошел вплотную к нашим ножам и, впитывая кожей их змеиный холодок, сказал: вызвана полиция, и на промежуточной станции нас — безбилетников и хулиганов — выбросят вон со всеми манатками.
— Нас выбросят мертвыми, — продуло его сквозняком морга.
Проводник поехал. И предложил расплатиться за проезд — чем богаты. Если кончились доллары, он примет злотые, а нет злотых, не откажется и от рублей.
— С изображением смерти на ассигнации, — пояснили наши ножи.
И проводник притих-примолк. Он ушел в свою конуру. И долго не показывался оттуда: то ли пересчитывал барыши, то ли наливался шнапсом.
Выгаданная передышка позволила нам препроводить по коридору детей в туалет и без потерь — осколочные ранения от взрывной ярости польских дам и их оскорбительных слов не в счет! — вернуться назад в убежище.
И вновь перед нами вырос проводник, запотелый от полноты чувств.
— Ваше купе, как и все прочие в вагоне — сидячее. Оно на восемь человек. Сейчас будет остановка. Вы должны потесниться, уступить места новым пассажирам.
Он говорил. Он косился на ножи. И ножи дали ему понять, что ни для пассажиров, ни для полицейских свободных мест в нашем купе не предвидится.
И была остановка на какой-то польской станции. И была посадка. И было то, чего случиться по теории вероятности не могло. Но случилось. Случилось в соответствии с другой теорией, тоже еврейской по существу, но совершенно невероятной.
Поляки, не понимая происходящего, проходили мимо нас — меня и моего брата — и не имели возможности даже заглянуть в наше купе. Проходили мимо нас, мимо наших ножей и усаживались на чемоданах в проходе.
Не голоса — дизеля ревели: «Польша закрыта! В Польше нет уже свободного места для поляков! Куда деваться бедным полякам, когда их места в купе скорого поезда, идущего по территории Польши, заняли жиды?»
Некуда поляку деваться, когда у еврея нет запасного выхода.
Еврею надо стоять на смерть. Или встать на колени.
Колеса стучали: «Смерть! Смерть! Смерть!»
Приближался конец. Приближалась граница с Чехословакией.

И вот она, граница. Ныне для меня не столько географическое понятие, сколько граница жизни и смерти.

Проводник понесся по вагону.

Что это он? Собирается сыграть тревогу?

С чего это он такой взволнованный и красный?

Стряслось что?

Ничего не стряслось! Просто-напросто он раздаёт посадочные талоны.

Он! Раздаёт! Евреям! Посадочные талоны!

Те талоны, за которыми гонял нас на вокзал.

Те талоны, вместо которых требовал от нас доллары.

Мы отказались от посадочных талонов. Я и мой брат Борис.

Мы сказали:

— Пусть нас забирает ваша полиция. Мы примем бой.

И подняли ножи на уровень груди.

Это было для него слишком. Он стал умолять нас быть людьми. Ибо, если мы не будем людьми, с него снимут голову.

Мы не хотели быть людьми в понимании этого гада-проводника. Нас не занимала участь его головы.

И тогда он чуть не изошел пеной. Нас колыхнуло пивным прибоем. На своем хребте прибор принёс: надо учесть, что у него маленькие дети, и в случае, если его лишат работы, они будут пухнуть от голода.

А доллары? Какие доллары? Ах, те самые, еврейские. Да ведь доллары есть не будешь. И к тому же их надо сдавать. Куда? В известное учреждение. В Большой Дом...

Доступно, не правда ли?

Но мы — я и мой брат Борис — отказывались понимать его доступную правду.

Видя это, проводник сказал свое — «псыкрев!» И со злостью бросил нам под ноги посадочные талоны.

Два желтых листка лежали на затертой ковровой дорожке. Два жалкие бумажки, похожие на осенние листья.

Мы не нагнулись за ними... Теперь мы были уже не эмигрантами, израильтянами были.

Так нам хотелось думать.

Глава девятая

1

Судьба ли, характер беглого именованника, но 16 апреля 2000 года застало меня там же, где и пятнадцать лет назад, у покрытых ершистой травой и козьими тропами сопки Самарии — в боевых порядках царицы полей...

На кружевном небе, за пыльными стеклами казармы-дощатика, подрагивала от озноба дама червей, вытканная звездными спицами в зеркальном противоречии — справа налево — с карточной красоткой. С козырной азартностью косо прошла по воздуху. И в отблесках электрических светляков Шхема, плашмя, клетчатой рубашкой наружу, легла на подрумяненное личико валета.

— Дуракам закон не писан, — сказал я, отстраняясь от зеленого оружейного ящика, нашего походного стола: в центре атласная колода и пепельница, дальше по периметру початая бутылка водки, пластиковые стаканы, яйца — вкрутую, со щербатыми носами, помидоры, хлебцы для сэндвичей и пакет с обрезками копченой колбасы.

— Подставь нос. Щелбану, — насмешливо, с деланной угрозой Мишаня, мой давний приятель, иерусалимского склада, взмахнул веером карт.

— Лучше предлагаю выпить,— Левка Ецис, потомственный брадобрей из Риги с галутной фамилией, настоенной в Латвии на ивритском корне — («ец» на древнееврейском — дерево) — упредил нарочитый порыв Мишани и разлил по шатким без достойного наполнения емкостям.— Результат для носа тот же. Что от карт. Что от водки,— пояснил он.— Результат мы имеем в цвете носа. А нос мы имеем какой? Правильно... красный!

— Верное цветовое решение,— насмешливо согласился Мишаня, искусствоведческое образование не давало ему покоя и лишало творческой души, когда он становился к мольберту. — Сизый, красный... какая разница... Главное, чтобы водка была свежая.

— Другую не держим,— откликнулся Левка Ецис.— Не рижский бальзам. Бальзам пока доберется... Аэропорт Румбула, цвейки-здрасте! — выгрузка-погрузка... Аэропорт Бен Гурион, литраот-до свиданья! — погрузка-выгрузка...

Водка оказалась первой свежести. По неписанному вердикту, уходя в «милу-им» — (на армейские сборы) — каждый из нас обзавелся пузырьком. Теперь, по традиции, эти пузырьки мы разменивали на стопари. Не на троих, упаси господи! На всех! А их,— «всех», в особенности «желающих на троих» в «Русском батальоне» с избытком. Не зря же он и наречен мной «Русским батальоном», почитай, еще в начале восьмидесятых, со времен первой войны в Ливане. С тех же времен, потаенных поныне в чернильнице, нашим «встречинам» и «проводинам» традиционно не мешали израильские сограждане, слабые по части «принять на грудь, и ни в одном глазу».

Мы разлили по фляжкам оставшееся питье, рассовали по карманам закус. И прихватив с кровати американские винторезы М-16, скользнули из дощатика в набегающую темень. Прогуляться на сон грядущий.

В двухэтажном каменном особнячке со сторожевой будкой на крыше и длинной, рвущейся к звездам антенной, плескала залетная, пластинками шестидесятых годов привечаемая мелодия, для меня ностальгически родниковая.

— Аленький цветок,— сказал я Мишане, указывая пальцем на открытое под сторожевой будкой окно.

— Маленький...— поправил меня искусствовед, к музыке имеющий малое отношение.

— Аленький-маленький, какая разница,— настроился на игривый лад Левка Ецис.— Главное, под такую музыку, в результате мичуринской селекции — да-да, произрастают, по моему разумению, цветы жизни.

— Думаешь, есть смысл потоптаться на этой клумбе?

— Распутин! — назвал меня на армейский лад Левка.— Какие сомнения в ясную ночь? Но не топтаться, боже мой, упаси! Фу, как неприлично! А вдыхать волшебный аромат...

— Цветочного одеклона? — намекнул я рижскому парикмахеру на его профессию.

— Принято-подписано. Так и скажу у входа в Пенаты райского сада: «Цвейки-здрасте! Я пришел к вам вдыхать...»

Я толкнул Мишаню локтем.

— Как ты?

Мишаня, прежде чем кивнуть утвердительно, глотнул из фляжки.

— Пойдем — подышим,— согласился.— Где наше не пропадало...

Он, единственный из нас, был семейным в полном объеме, без разводов и распрей с женой. Посему дорожил именем-положением и помнил незыблемое правило древнего Израиля: «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».

Произнесешь его в Эйлате, не помня даже по какому поводу, наутро оно отклик-

нется на твоих ребрах в самом пекле Иудейской пустыни. И хорошо еще, если не станешь соляным сталактитом, как жена Лота. Ведь сказано было ей словом, честно, по-божески: «Не оглядывайся, мать человечья». Ан, оглянулась, вопреки наказу, — и... А ведь будь в тот момент у ее проводителя и мужа, безгрешного пока еще Лота, хоть на капельку поэтического чувства, он, несомненно, и стал бы автором нетленного — «нам не дано предугадать...» Но не стал. В тот исторический момент он, судя по всему, растерял от внезапного жара небесного все естественные чувства, не только поэтические.

У меня, в отличие от Лота, поэтических чувств было навалом.

Когда-то под это танго меня, в ту пору малолетнего... нет, не преступника, а чемпиона Латвии по боксу, учила танцевать старшая сестра Сильва: «два шага влево, один вправо...» Однажды она взяла меня с собой на выпускной вечер семиклассников — «Ситцевый бал». Сильва играла на аккордеоне. Я танцевал. «Два шага влево, один вправо». Не Марис Лиєпа. Но ведь и обычная школа — не Большой театр, актовый зал — не сцена. Танцевал... первый раз в жизни. Под это танго. С девчушкой, пригласившей меня — меня!.. чаще приглашаемого на ринг... Не мудрено, что и девчушка мне запомнилась навсегда, и ее расписное платье — перевернутая рюмочка, украшенная цветами, да и сама мелодия... мелодия, влекущая сейчас меня по лестничным маршам, затем в коридор, затем к третьей двери справа по коридору — сюда...

«Нам не дано предугадать...»

Слово за слово, но за дверь и впрямь встретил нас цветник. Не в девичьем, правда, а в реальном своем воплощении. Вдоль стен и на подоконниках ящики с рассадой, шелка лепестков, садово-огородных расцветок. В центре, на характерном для турпоходов столике с раскладными ножками, портативный магнитофон, баюкающий оранжевую мелодией первой моей молодости. И ни одного живого существа. Исключая залетного комарика, зудящего в раздражении под потолком, у матовых ламп.

Первым очнулся, а на моем языке, боксерской ориентировки, «вышел из гроги» Левка Ецис.

— Здравствуйте, приехали! Намыливались на «Шанель», а в результате, нате вам, «Тройной одеколон». К употреблению, конечно, годен. Но куда его употреблять, кто подскажет? Наружу или во внутрь? — театрально сказал, разводя руками, бывалый брадобрей. Полагал, что не впустую, а для скрытого за дверью в смежную комнату человечка, должно быть, женского пола, в кудряшках-бантиках, в губках-ласточках, манящих в поднебесную нирвану, откуда сверзиться... да-да, только сверзиться оттуда и не доставало, для полного удовольствия и порядка в танковых войсках.

Мишаня вытащил из брезентового футляра фляжку, взболтнул ею над ухом и, удовлетворенно почмокивая, протянул мне. Виделось и без бинокля: он немного растерян из-за негласного вторжения в чужую обитель, вот и пытается, подражая Левке, выглядеть более нагло.

— Закуска имеется,— щелкнул пальцем по стеблю гвоздики.

Левка рассмеялся.

— Это ты называешь закуской?

Мишаня тоже настроился на смех.

— А это запивкой,— и, отвинтив колпачок, дал Левке отметить изрядным глотком.

— Хорошо пошла,— отметил он, передавая по эстафете фляжку мне.

Я тоже принял на грудь и вернул алюминиевую посудину Мишане. Он поднял фляжку на уровень глаз, словно удостовераясь, как с прозрачной бутылкой, сколько там осталось на доньшке. Открыл рот и... И остался с открытым ртом. К открытому

рту надо бы добавить и превеликое изумление в его глазах. Тогда картина — (а он все же искусствовед, потому и «картина») — будет полной. Впрочем, не совсем. Полной картина будет в том обязательном случае, если я приведу сейчас слова, раздавшиеся за дверь в смежную комнату. А я их непременно приведу.

— Папа не смей больше пить, а то маме скажу! — раздалось за дверь. (Слова угрожающие, но тон... тон... а над ним едва сдержанные всплески веселости, настроенные на какой-то полудетской игривости и непритворной радости.)

— Ленка! — ахнул Мишаня, поспешно закручивая колпачок на флажке и втискивая ее в футляр на боку. — Откуда тебя нелегкая занесла?

— Это тебя «откуда», папаня? Ты ведь к Хеврону приписан, а здесь мои Пенаты...

Мишаня отшутился в том же духе.

— Твой «басис», конечно, хорошая база и для Репина. Но Репина среди нас в Хевроне, не изыскали. И кинули меня с охраны Гробницы праотцев на укрепление вашего, так сказать, морального духа.

— А Распутина? — послышалось за дверь.

— И Распутина, — поспешно сообщил Левка Ецис. — И меня, цвейки-здрасте! На укрепление. Но меня, скорей, на укрепление тела, чем духа. В здоровом теле, как известно, выводится в результате здоровый дух. Выходи уже один раз, Леночка, к нам наружу. Мы хоть — на укрепление, но не опасные. Да к тому же тут, как я понял, папочка твой. Если что, он кулачком погрозит, и я приутихну со своими хулиганскими приставаниями.

Такая напыщенная речь хмельного парикмахера, дамского угодника в солдатских шароварах цвета хаки, растормошит кого угодно, в особенности... Да, в особенности, Леночку Гольдину, способную и врожденное женское коварство пристроить на службу к спонтанно возникшей юморной ситуации.

— Я за папочкиным кулачком не скрываюсь, — сказала Леночка, выходя в оранжею... э-э... несколько в неожиданном наряде.. в неожиданном для ухажера из «Маленького Парижа» — Риги, знатока дам высшего света из салона красоты. Впрочем, он пользовался еще большим успехом на базаре, у торговки кислой капустой, но, как правило, в утренние часы лютой похмельюги.

Леночка Гольдина, солдатка-очаровашка, вышла на всеобщее обозрение ветеранов израильских войн в синих трусиках, белой майке, в тапочках на босу ногу и в боксерских перчатках.

— Чтoб мне с места не сойти! — сказал Левка Ецис, и не успел он чмокнуть языком в знак природного восхищения израильской девчушкой, этакой «сабрeнкой» из наших, поросших уже мхом мечтаний, как инстинктивно выкинул руки вперед, подхватывая брошенные ему кожаные перчатки.

— Давай! Давай! Натягивай рукавички, дядя, — торопила его Леночка. — Много лишнего знаешь про свое здоровое тело. Пора его превращать в здоровый дух.

Левка оглянулся на меня. В его зрачках читалось: «Чего она хочет, эта милашка? Я же ее ненароком убью, крохотулю эту. Что мне скажет потом ее папа, Мишаня? «Спасибо» он мне не скажет. Он скажет другие слова, тоже из русского языка. А потом возьмет автомат и... и не с кем будет в нашей компании выпить на троих».

Я отвел глаза от Левки.

Мишаня, пряча ухмылку, тоже убежал его встревоженного взгляда.

Латвийский парикмахер, шестьдесят семь кг. убойного веса, положил на стол бесполезную винтовку и вынужденно встал в боксерскую стойку, спровоцированный к поединку солдаткой-«мухачкой».

А я, в образе и подобии рефери, придавливая по возможности серьезностью насмешливые нотки в голосе, провозгласил:

— В левом углу мужчина в полном соку, цвет и краса нашей армии Лев Ецис. Обладатель большого опыта в боях с женщинами. Подтверждением тому загсовые свидетельства и плешь на темечке. Трижды женат, трижды разведен, некоторые волосы сознательно вырваны несознательными элементами женского рода и племени. В правом углу «ганенет», то бишь «садовница» из бригады «Нахаль» Леночка Гольдина, дочка Мишани, малопьющего, кстати, на резервистской службе. Солдатке нашей восемнадцать лет, жизненного опыта с мизинчик, мужей нет в наличии, а если будут, то мы им обломаем рога, для приличия. Итак...

Леночка сделала шаг вперед, по касательной, огибая левую руку Левки Ециса, готовую к внезапному броску.

— Бокс! — скомандовал я.

Левка тотчас выбросил левую руку. Но кулак его просквозил воздух в стороне от лица юной боксерши. Она ловко зашла за его плечо и кроссом нанесла справа удар по скуле, в убойную точку. Ноги у Левки подкосились, и он чуть было не шмякнулся на пол. Но Леночка опередила его падение и поддерживала мужика в вертикальном положении серией апперкотов по животу, пока он мало-помалу не оклемался. Когда же он оклемался и готов был продолжить бой, она увертливо ушла от прямого в голову и легонько стрельнула снизу по его печени, чуток, как я полагал, подпорченной на войне с алкоголем.

Левка остановился, переводя дыхание. На его посеревшей физиономии блуждала загадочная улыбка, потерянная какая-то, будто попала не на лицо, а в лабиринт.

— Сдаюсь, — поднял он руки.

— Давно пора, — Мишаня снял с него перчатки.

— Откуда у нее такие кулаки? — спросил Левка. — Ты ковал?

Мишаня махнул головой в мою сторону.

— Победителей не судят, это понятно и рыцарю печального образа, — сказал Левка, оживляясь под влиянием рождаемой в недрах организма идеи. — Но что касается побежденных, то им... Им, Леночка Гольдина, выпить хочется. Выпить и в результате принятия положенных на душу населения градусов отметить встречу.

— Я не пью, — усмешливо ответила Леночка, — Я с папой и без водки вижусь.

— Ле-ноч-ка! — врасстяжку воскликнул Левка. — А я с твоим папой по-иному, без водки, видется не привык. Да и... причем тут папа, девочка, сообрази. У нас закус, у нас выпивка. А там, — он указал пальцем на окно, — там злой старшина, пыхлых коптит усы в казарме. Нам бы кого добрее. Подруг твоих. Все же, согласись, мы не насильники какие — папа твой гарантия. Посидим — поговорим, песни вспомним. Попоем... послушаем... Вот эту, например, что у тебя по бабинам крутится. Аленький цветок, маленький... хрен редьки не слаще... а нам скучно... размаха нет... Чего это вдруг ты такую музыку поставила?

Леночка Гольдина пожала плечами, капельки пота скатились под майку, влажными линиями зачернили ткань.

— Папу увидела. Распутина увидела, а музыка эта — его любимая. Дай, думаю, сюрприз им сочинию. Услышат — и как на магнит их потянет.

— Вот-вот, как на магнит. Душу растревожила... А на поверку пшик-пшиком. Раз дала мне по морде — и все. Палдиес-лудзу, спасибо-пожалуйста. Подставить теперь, что ли по-христиански, вторую морду?

— Шеку, — лукаво поправила его Леночка.

— Щек в запасе не держим. А вот морд у нас с избытком. Мы же евреи — рабы мимикрии. Вечные эмигранты. Где живем, теми и становимся. Надо будет, и в пацанов перекуемся, если на подходе появятся девочки.

Мишаня нахмурился.

— Левка! — выдал укоризну и легким тычком протолкнул сослуживца в смежную комнату с тумбочкой в изголовье кровати и двумя пластмассовыми стульями.

Усадил его на кровати, на походное, верблюжьей шерсти одеяло, налил в стакан водки, дал выпить. Потом щедро плеснул себе в горсть и растер Левкин загривок наждачной ладонью.

— Ополовинел возраст свой, мудака! Не соображаешь, дочка это моя... А у тебя козлиные интересы. Засунь их себе...

— Мишаня, если я уже не соображаю, так токмо по ее вине, твоей дочки. Не она ли мне мозги вправляла сегодня? Или я сам по себе, как на пианино, кувалдой играл?

— Доиграешься у меня!

— Мишаня! Дуростью полны твои паруса. Посмотри, разуй глаза. Распутину можно половинить возраст. А мне — привет родителям! — нельзя.

Мне почудилось, что и Левка и Мишаня — (Левка напрямую, Мишаня вполоборота) — смотрят на меня, стаскивающего с Леночки перчатки, доискиваются во мне, в недрах души и тела моего, до чего-то подспудного, мне неясного, но важного, важного, жизнью и смертью отмеченного, судьбоносного... Но чего? Чего?

Нам не дано предугадать... Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...

— Ну что скажет учитель? — спросила у меня Леночка. — Я хорошо дралась?

— Боксеры не дерутся, а работают, Леночка.

— Я хорошо работала, Распутин?

— Ты? Ты и не поверишь, Леночка. Я тобой любовался.

2

Левка Ецис, носитель харизмы, заметил, отпихиваясь от Мишани, «разумно скользящую» за открытым окном проволочку, сечением с грифель от карандаша.

Со штриховой четкостью, не колыхаясь, она жестко двигалась в полутьме, вверх-вниз, из стороны в сторону. Совершала какие-то логические ходы, пока маловразумительные, у подоконника с рассадой. Но когда загнутым наподобие крючка кончиком захватила пластиковую корзиночку с новорожденным цветком, тайное стало явным.

Левка Ецис «испуганно» округлил глаза и — палец ко рту, поперек губ.

— Ша! — сказал он Мишане. — «Полицейские и воры».

Мишаня оглянулся на окно.

Название знаменитого в прошлом «иностранный» фильма служило своеобразным паролем для людей моего поколения.

Тискаясь по двое в одном кресле, мы умирали от смеха, любясь хитроватым итальянским «рационализатором». При помощи удочки он вылавливал с балкона гирлянды сосисок и колбасу из магазинчика на первом этаже здания.

Сейчас же было не до смеха, в особенности Мишане. Ворovali ведь не на экране, и не у какого-либо лавочника, а у его родной дочки Леночки. «Украдут на копейку, доказывай потом на рубль, что не сбывала товар на сторону». Он протянул руку, чтобы рвануть за металлическую леску, сдернуть воровитого паршивца с крыши. Но Левка Ецис придержал его.

— Ша! Убьешь, не глядя.

Они осторожно, не спугнув полуночного зверя, прошли из спальни в салон, к нам, ко мне с Леночкой.

— Распутин, пора на прогулку, — сказал Мишаня, таинственно указывая большим пальцем на потолок.

Левка, хитро подмигивая, не удержался от ерничанья.

— Ночная прогулка по крышам. Самое то для старого котика. Пойдем-пойдем, покажем этому засланцу «наше вам с кисточкой».

— Пойдем,— согласился я.

Меня всегда восхищало умение русских израильтян выходить «по тревоге» из глубокой пьяни в состояние полной боевой готовности. Я и сам был асом высшего пилотажа в этом деле, повязанном мертвой петлей. Правда, секретным русским оружием овладел не интуитивно, как, например, парикмахер Едис или искусствовед Гольдин, а в Калининградской спорттроте, которая в случае войны превращалась в отряд специального назначения.

Вот и пришлось по ту сторону Калининградского горизонта, в прицельной близости от Шхема возродить молодость. Взять на себя — по инерции воспоминаний, что ли? — командование группой поиска. И украдкой, без шума и всплеска эмоций, подниматься по спиральной лестнице в сторожевую башенку. Оттуда с той же насто-роженностью всматриваться в подсвеченное желтоватыми лампами пространство бетонного покрытия, с угловатыми — от фонарных штанг и штырей — тенями.

У самой кромки крыши, под козырьком-заборчиком проглядывал спальный мешок, рядом термос, стакан. Легкий ветерок дребезжал ложечкой, слышалось постукивание металла о стекло.

Под этот пристойный шумок виновник торжества демонстрировал нам неприличное место своего организма. Обтянутую джинсовой тканью задницу. Наследник Соньки Золотой ручки шуровал у Леночкиного окна в спальню своим нехитрым, для чистки канализационных труб и колодцев пригодным инструментом.

Левка Едис шепнул мне на ухо:

— Удобная поза...

Я — чтобы не рассмеяться — показал ему кулак.

Наследник Соньки Золотой ручки вытянул из лунки «унитазную» проволоку. Развернулся лицом к желтым лампам на шестах. И в створе их штыковых лучей показал нам свой улов, надо признать, удачный: двойную пластиковую коробочку с каланитами, ярко-красными цветами, священными для Израиля. Срывать их нельзя нигде — ни с клумбы, ни в лесу, ни в поле. Принято считать: каланиты стихийно прорастают на месте гибели наших солдат — это одухотворенные капельки еврейской крови, пролитой в боях с врагом.

Какое-то щемящее чувство неприязни и оторопелой брезгливости охватило всех нас одновременно, когда мы различили на загнутом кончике прута — прута, которым обычно ковыряются в дерьме, наши каланиты...

— Берем? — пихнул меня локтем Мишаня.

Я кивнул.

И спонтанно, в едином прыжке, но в трех направлениях, спереди и по бокам, мы перемахнули через парашют сторожевой башенки.

И разом отдернули затворы американских М-16.

Устрашающий лязг железа, знакомый большинству жителей нашей планеты, «для веселья мало оборудованной», разве что по кинобоевикам, имеет одну мистическую способность: внезапно наводит мокроту в штанах мужчин с вороватыми замашками, если их, вкуче с их замашками, застают «на деле» врасплох.

Наш визави, выяснилось секунду спустя по острому запаху, не являлся исключением из правил.

— Ми ата? (Кто ты?) — спросил Мишаня, подходя почти вплотную к палестинцу, обнаруженному посреди ночи в самой что ни на есть сердцевине военной базы.

— Они... (я...) — мямлил пойманный с поличным вор. — Они ми Наблус. (Я из Наблуса.) — назвал Шхем, пошмыгивая в усы, на арабский лад — Наблусом.

— Они ми Сибирь, эфо зеев тамбови — хавер шелха. Вэ ма? (Я из Сибири, где тамбовский волк тебе товарищ. Ну и что?) — ответил Мишаня сразу на двух языках. Выпускник «Мухинки» любил показать себя полиглотом в глазах неучей.

— Ма? Эйзе зеев? (Что? Какой волк?) — недопонял араб.

Мишаня просунул ствол винтовки между двух коробочек с каланитами и, не чувствуя сопротивления вражеских рук, передал их мне, все так же, на стволе. Я спрятал их в накладном кармане армейских штанов, справа от колена, где могла поместиться еще парочка лимонок. И спросил у пленника:

— Ма ата осе по? (Что ты здесь делаешь?)

— Они инсталлятор. Осе тикун. (Я сантехник. Занимаюсь ремонтом.)

— Каждому придурку понятно, каким ремонтом ты занимаешься,— психанул Левка Ецис,— Руна Рига, говорит Рига: ассенизатор и водовоз из Наблуса! Нате вам! Явился-не запылится на нашу еврейскую голову. Иди проверь его руки — в говне они или в нашей кровушке? Мать твою! А ну руки вверх! Ядаим лемала!

Палестинец поднял руки.

Левка поспешно его обыскал, оглаживая ладонями сверху до колен.

Чувствительные пальцы парикмахера нащупали в брючном кармане удостоверение личности, а под рукавом нательной рубашки отточенный нож, подвешенный к плечу на резинке от трусов. При резком выбросе руки черенок его вкладывается в ладонь, и тогда мгновенный змеиный укус и — смерть в двух шагах от собственной жизни, которая по неосторожности вывела тебя под предательский удар.

Левка передал мне удостоверение личности. Я сличил фотокарточку с лицом нашего собеседника, прочитал по складам:

— Аб-дал-ла Бар-бу-ти... или... Хрен его разберет!

Из сторожевой башенки вылез волосатой груди человек, старшинского звания и отличия.

Воздух пивного цвета, подкрашенный желтками фонарей, менял его расовую принадлежность: курчавого семита превращал в паленого японца. Но рост, почти двухметровый, оставался при нем.

— Ма кара? (Что случилось?) — спросил он, надвигаясь на нас в сумеречном состоянии души. Лязг затворов — слышимый, кстати, на большом расстоянии — вырвал его по всей очевидности из «соломы».

Его встревоженная, но все еще сонная физиономия, монголоидного колера, увенчанная эфиопской шевелюрой, могла хоть какую «сурьезность» вывернуть наизнанку. Левка Ецис при виде старшины — «рассара» — чуть ли не прыснул:

— Цвейки! — сказал по-латышски. И, спохватясь, добавил по-русски, вовсе забыв о древнееврейском: — Еще один на нашу голову!

— Цвийка! — поправил его, представляясь, командир.

— А я что говорю! — засмеялся от неожиданности Левка Ецис.— Латышский с ивритом — братья на век. Цвейки Цвийки! Здравствуйте, Гриши!

— Цвийка! — незванный гость, он же хозяин базы, вновь уточнил свое имя. И повторил: — Ма кара? (Что случилось?)

Левка на доступной в Израиле мове Соломона Мудрого разъяснил ситуацию. И поверг дознателя в легкое — из-за нас, посторонних! — замешательство. Он сам лично, вопреки всем табу, оставил нарушителя спокойствия кукарекать до утра в спальном мешке. (Но без попутного лихоимства, понятно и курице.) Дабы спозоранку, без потери драгоценного времени — намечалась инспекторская проверка — включить стервеца в ударный труд на благо коммунального хозяйства. Уж он-то, кудесник-золотарь, наведет глянец на все отхожие места и представит их придиричвому начальству в неотличимом от театральной ложи состоянии. Уж он-то!.. А он?..

Он, находчивый этот парень, — в чужой карман за поживой копеечной. Розочки-гвоздички! (Левка Ецис вразумительно покрутил над головой горсточкой пальцев, изображая бутоны.) Но где цветики, там и ягодки. Того и гляди, пихнет наш бугай кого финягой в спину и легко сделает ноги за оградительную колочку. Или... девушку-солдатку примет за газель гаремной выучки и, трах-тара-рах, ищи виновных. А кто виноват первый? Аккурат, старшина Цвийка. Пусть и из матерых, пусть из своих, ан не уследил — не досмотрел. И самолично — без приказа! без всякого приказа свыше! — принял не-пра-виль-ное-е решение, пре-ступ-но нарушил ос-нов-ной воин-ский закон последних лет. Позволил подозрительному во всех отношениях человеку, причем вооруженному до зубов смертоносным холодным оружием, ночевать без присмотра на базе. Где кроме секретов урожайности цветов можно изыскать и другие военные тайны. Словом, на иврите, по-русски и по-латышски — враг не дремлет, шпион не спит! И десять лет без права переписки отыщешь на том же суку, на котором тебя и повесят. Се-ла-ви! — как говорят французы, когда они говорят на еврейские темы.

Цвийка опешил от выкрутас Левкиной речи, полной идиом зарубежного, латвийско-российского происхождения, от его требований — немедленно взять вора со «смертоносным ножиком» под арест и отвезти его с конвоем в Шхем, на допрос в «мимшаль»-комендатуру.

Опешил и Абдалла, чуя непривычное отношение, угрозы в голосе с русским акцентом, упоминание о ноже, как об припрятанном для убийства оружии, о Шхемской комендатуре-«мимшале», где расквартированы на сей раз друзья из погранвойск, известные знатоки уголовного права и арабской ментальности.

Цвийка подошел к плененному палестинцу, похлопал его по грудям, по бокам, под мышками, будто обыскивая.

— Эх, Абдалла! Подвел, шельмец.

Абдалла изобразил смущение, перешедшее в раскаяние.

— Гам оти еш гина — (у меня тоже есть садик), — оправдывался он, сторонясь мелкими шажками от Левки.

Мишаня заскрипел зубами, усмирил гнев и желание вмазать кое-кому по уху.

— Ну и гад! Нашел уважительную причину! Любой суд подпишется под оправдательным приговором. А мою Леночку за недостачу под арест, да? Ей нельзя под арест! На кону первенство Иерусалима. Золотая медаль! А потом... а потом...

— Чемпионат Европы, — весело встрял я, похлопывая ладонью по лакированному, в царапках, прикладу автомата. — И звание первой перчатки нашего с тобой, Абдалла, континента. Ты слышал о нем, полагаю, от бабушки. Но не к бабушке под юбку ты полез со своей проволокой. Ты полез к Леночке, в ее цветочный карман. Стырил именно ту рассаду, именно те каланиты, которые завтра поутру ей вживлять у гробницы Йосефа. А он ведь, Йосеф, толкователь фараоновых снов, кормилец и поитель древнего Египта, не только наш патриарх и пророк. Но и ваш, мусульманский. Не правда ли? Что же мы имеем в наличии? А имеем мы, что ты, Абдалла, обворовал ва-ше-го патриарха и пророка. И заодно подставил нашу девчонку, чтобы ее запечатали под замок. И это вместо поездки в Иерусалим... На боксерское первенство! Имени Стивена Хилмса! Сапера, между прочим, израильской полиции. Бывшего американца, воевавшего во Вьетнаме. И погибшего в самом центре на-ше-го Иерусалима. При разминировании ва-ших чудных, Абдалла, игрушек.

Я говорил-говарил, не постигая за своим боевитым красноречием, на каком языке выкладываюсь по полной — на русском или иврите.

Старшина Цвийка, на скоростях обдумав логическую комбинацию, решил тут же отвязаться от нас — глазастых законников, прикомандированных к «девичьему» под-

разделению. И заодно избавиться от живородной улики халатного его отношения к воинской службе, от Абдаллы. Открыв рот, он сказал то, что в хитро запрессованной ситуации и следовало от него ожидать. Открыв рот, он сказал:

— Приказываю!..

Приказ старшины Цвийки сводился к простой вещи: мы забираем с базы лихоимца-араба, отвозим его — ни в коем случае не в комендатуру! — а напрямик к гробнице Йосефа, в Шхем. Там он и квартирует, прохиндей, со своим прохиндейским садиком из уворованных у евреев цветов. Напротив винного магазинчика, выводящего к лагерю беженцев Балата. Оставляем его на попечение жены и детей. С наказом: рано утром явиться на базу для продолжения косметического ремонта унитазов и сливных бачков. А сами перенимаем пост у Цвийкиного спецназа. И кукуем в гробнице Йосефа всю неделю напролет.

3

Зорная полоса света подкрашивает подошедшие к гробнице Иосифа автобусы. Их желтые номера отливают цветом нашей крови. Я не оговорился, из сотен шхемских жителей, садящихся сейчас в кожаные кресла, можно выискать и террористов-самоубийц, направленных на задание. Выискать можно, но как?

Неиссякаемой колонной идут они по грунтовой дороге, большинство с разрешением на работу. Перед посадкой просматривают их документы. Юнцов, не перешагнувших возрастной барьер, отгоняют в сторону. Нас когда-то не пускали на фильмы «до шестнадцати лет». Их — до определенного возраста — не пускают в Израиль. По версии специалистов, это «взрывоопасный» контингент. Но израильские специалисты — канцеляристы-кабинетчики. Постоять бы им на нашем посту, понаблюдать за шествием рабочего люда в Израиль, увидеть вблизи эти злые глаза, эти грозящие нам, охранникам древней могилы, кулаки или раздвоенные в знак победы-виктории пальцы. Насмотришься такого, всех запишешь в террористы, не исключая и себя самого. Но с самим собой, пожалуй, разберешься. Знаешь себя с детства, и все свои побуждения знаешь. А поди разберись с этим пацаном — Мухаммедом из деревни Аль-Фара. Мать у него, по жалостливому сказу, смертельно больна. Разрешения на работу нет. Но быть ему в Тель-Авиве надо непременно. Там в аптеке он приобретет нужные лекарства, здесь в Шхеме их не сыскать. А если он не спасет свою мать, то за себя не отвечает. Но при чем тут Мишаня? Не Мишане решать: кому ехать в Тель-Авив, кому оставаться в Шхеме. Он, Мишаня, стоит у входа в Кевер Йосеф — Гробницу Иосифа, интеллигентным видом привлекает обиженных да недовольных. Вот и Мухаммеда этого притянул, вертит в руках его удостоверение личности, ходатайствует перед командиром автобусного маршрута.

— Шломо, возьми парня. Чего тебе? Глядишь, жизнь человеку спасешь.

— Херня, Моше! Не покупайся на их штучки. Он тебе показывал больничный лист своей матери?

— Рецепт.

— Ты врач, Моше?

— Я искусствовед.

— Ну и разбирайся в своих картинах. А в их воровскую науку не лезь. Голову оторвут.

— Я же помочь хочу.

— Им это невдомек. Для них ты засветился этим своим человеческим расположением. Ты им запомнился. И если что не так, претензии к тебе. За участие. У него ломка, не сечешь? Ему уколется пора, а не маму спасать. Понятно?

— Нет, Шломо, эта математика не по моему разуму.

— Тогда успокойся и отойди на свою территорию, за ворота.

Мишаня, пожав плечами, передал Мухаммеду его удостоверение и вернулся ко мне за ограждение.

А Шломо, крикнув арабу: «Не положено!», отогнал его от автобуса.

Чтобы предотвратить бессмысленные разборки с Мухаммедом из деревни Аль-Фара, я замкнул ворота на ключ и повлек Мишаню к приземистому зданию Гробницы. Мы спустились по ступенькам и уселись на каменный пол у дверного проема, прислонясь спиной к холодному и гладкому камню стены.

Отсюда, снизу, Шхем просматривался по касательной множеством светлячков, взбирающихся в темени как бы наощупь. Но все выше и выше, по неразличимому взгорью и оттого таинственному. На самой верхотуре, где небо сливалось с островерхой антенной, попыхивал маячок аэрослужбы. Там располагалась наша военная база, с которой, как поговаривали, просматривался весь ближневосточный регион, со всеми его взлетными и посадочными полосами, с взмывающими в высь и садящимися на землю самолетами.

Мишаня недовольно бубнил что-то себе под нос, без выплеска наружу душевного расстройства. Не то чтобы он искренне скорбел за изгнанного из автобуса палестинца, но по его представлениям все это обставать следует как-то иначе, человечнее что ли, без криков и ожесточенного пиханья.

— От нас ведь зависит, как они относятся к Израилю,— вырвалось из него, когда он разжег в ковшике ладоней спичку и закурил сигарету, любимый им «Тайм».

— От нас ничего не зависит,— сказал я угрюмо.

— Получается, они запрограммированы, да? На ненависть?

— Эх, Мишаня... Ты никогда не жил в национальной республике. Как ни изображай себя хорошим, но если ты с оружием к ним пришел, и при этом рядишься в благодетели с пряником, быть тебе...

— Врагом?

— Врагом... Оккупантом... А детям твоим — эмигрантами.

— Меня умиляют,— сказал Мишаня, стряхивая пепел на плитку пола,— умиляют бывшие советские люди. С извечными их ссылками на Господа. В синагогу их силком не вытащить. А как о приоритетах, кому принадлежит эта земля, так сразу к заветам Всевышнего, будто присутствовали при даровании Торы.

— Евреи — присутствовали.

— Да какие мы евреи? Кипу не носим. Субботу не соблюдаем. Израильтяне, скорее, мы, как и арабы, живущие здесь. А не евреи. Евреи — это понятие религиозное.

— И генетическое, Мишаня. Допустим, мы евреи генетические. Это даже более надежно, чем «хазер ба чува» — новообращенный. Им может стать любой: и русский, и китаец, и француз. Было бы желание. А не желание, так приказ. Представь себе, арабы по секретной наводке муфтия хором повалили в евреи. Надели ермолки, цицот, лапсердаки. И без всяких военных действий, просто интенсивным размножением, вытеснят нас из страны. А кого нас? По их представлениям, неверных. Мы ведь не евреи, если не ходим в синагогу.

— К тому времени мы выпадем уже в осадок истории,— грустно усмехнулся Мишаня.

— Никуда мы не выпадем! — загорячился я.— В Галуте выжили. Выживем и здесь. Главное, чтобы арабы не пошли в евреи.

— Выходит, нам надо опередить арабов. И пока они не додумались, самим идти в евреи.

— Самим.

— Культурка нас заела. Нет, чтобы бить поклоны на сон грядущий, сидим у мольберта, молимся на палитру.

— На поллитра! — добавил я.

— И на поллитра, — согласился Мишаня. Вдруг он остановился, задумчиво посмотрел по сторонам и тихо произнес: — А знаешь что... — Затем, кряхтя, поднялся на ноги. Шагнул к двери в усыпальницу. — Пойдем... посмотрим... долг отдадим. А то прискачут туристы, и опять не поглядим — не пощупаем.

По отглаженным паломниками ступенькам мы спустились в залу, прохладную в любое время суток. Величиной не менее двадцати пяти квадратных метров. Пол выложен плиткой. Саркофаг на десятисантиметровом постаменте в центре.

Невольно представляется, там, за толщью камня, на дне массивного гроба, нетленная оболочка Иосифа Прекрасного, повелителя, по сути возможностей, древнего Египта, а, следовательно, и всего сопредельного с ним мира. И вот сегодня, бездну лет спустя, когда ученые научились клонировать живые организмы, мы можем стать свидетелями восстановления прижизненного облика нашего патриарха. Не надо патетики, пусть не его самого, пусть некоего человеческого создания, внешне от него не отличного. Наверное, когда-нибудь это произойдет. И поднимутся в прямом смысле из праха наши предки. В пещере Махпела Авраам и Сара, Ицхак, Яков с женами. А также похороненный рядом с ними плотник Иосиф, муж Марии, матери Иисуса Христа. В Хевроне, напротив Махпелы, у туннельного входа в Касбу, Иошуа бен Нун. Здесь, в Шхеме, Иосиф. Поднимутся, но, нет, не затем, чтобы вновь пророчествовать, бунтовать, клясть отступников веры и повести народ вместо Мессии от победы к победе. Их устроит, полагаю, и более скромная роль. На бескрайней нашей ниве сплошной безработицы. Чем плохо быть просто наглядным пособием в музее еврейской истории? Оскорбительно? О, нет! Это Истинным Патриархам оскорбительно даже подумать о таком надругательстве над их иссохшими костями. Но что Истинным тошно, то нашим современникам, детям лихой девальвации шекеля, доллара, рубля — прибыльная халява. Кто — укажите пальцем — откажется от приятно оплачиваемой работы, весь смысл которой — ничего не делать и при этом никогда не бояться увольнения. Изображай из себя предка, ходи, закутанный в покрывало по музею, раздавая автографы. И не забывай в нужный день заглядывать в банк. За зарплатой. Никто тебя дармоедом не назовет. Никто не тронет. Даже на сувениры. Будешь ты в реестрах значиться «охраняемый государством одушевленный экспонат». И приставят к тебе часового, как к знамени. Резервиста-«милуимника» с винтарем, замороченного сокращением бюджета и увольнениями. Допустим, Мишаню... Нет, Мишаня не годится. Он в момент обнаружит тысячу несоответствий, все-таки искусствовед. Левку Ециса — в самый раз. Ему один черт — что мумию грудью от варягов защищать, что на грудь принять с живым человеком, хоть и зовись он Авраам Ави-ну — наш Отец Авраам.

Внезапно мои размышления продуло речитативом молитвы. Кто это? — повернул я голову. Мишаня? У саркофага, размеренно покачиваясь взад-вперед и прикрывая глаза правой (по предписанию) ладонью, обращался он к Всевышнему: «Шма, Израэль! — Слушай, Израиль!».

— Шма, Израэль! Гашем Элохейну, Гашем эхад.

Ритмическая вибрация слов непроизвольно ввела и меня в состояние единения с небесами. Опустив на глаза руку и мягко перекатываясь с каблучков на мыски солдатских ботинок, я шепотом вторил товарищу своему по оружию и молитве.

«ВЕАГАВТА ЭТ А-ДО-НАЙ Э-ЛО-ГЕХА БЕХОЛЬ ЛЕВАВХА, УВХОЛЬ НАФШЕХА, УВХОЛЬ МЕОДЕХА...»

«И возлюби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем, и всей душой твоей, и всем

достоянием твоим. И будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, на сердце твоём...»

— Будем пить? — послышалось сзади.

«Это Махмуд», — определил я в уме, различив летучие шаги по ступенькам сына арабского зрителя Гробницы, заразившегося у «русских солдат» пристрастием к сорокаградусным напиткам,

— Не здесь! — махнул рукой Мишаня назойливому собутыльнику.

— Будем? — повторил тот, вытаскивая из кармана бутылку. Подмигнул по-приятельски, шелкнул себя по горлу: мол, свой в доску. Открутил металлический колпачок, разлил по пластиковым стопарям, чокнулся со мной и, опрокинув свою порцию, поспешно, но с налетом артистизма понюхал рукав пиджака.

Вот подлец, перенял повадки у каких-то динозавров, обучающих его этикету дворового бомонда. И горд собой, полиглот-самородок, преуспел!

— Ступай к воротам, — сказал я Махмуду. — Туристы приехали.

Бело-голубой автобус фирмы «Вольво» подрулил к гробнице Иосифа. Водитель нетерпеливо надавил на клаксон. Створки дверей разъехались гармошкой. Американские туристы — мужчины и женщины среднего и пожилого возраста, некоторые с магнетидами или золочеными крестиками на груди — спускались на землю, выстраивались в очередь. И все это с настороженностью рискованных людей, готовых к внезапному нападению. Было нечто умильно-трогательное в их опасливых взглядах, напряженных позах, частых поворотах головы при резком движении кого-либо из соседей. Судя по всему, они спрогнозированы на любой поворот событий. Но как бы там ни сложился расклад судьбы, свыше их сил было попрощаться со Святой Землей, не посетив могилу одного из самых прославленных патриархов еврейского народа.

По одному, не толкаясь, входили они на огороженную штыковым забором территорию захоронения, без напоминания, предупрежденные заранее, предъявляли Левке Египсу сумки и целлофановые мешки на досмотр.

— Проходи, проходи, другс (друг), — серьезно проговаривал он, дурачась в душе, русско-латышские слова в тесной компании с ивритскими: — Лехи-лехи, по ло киркас, аваль... Иди-иди, здесь не цирк, но...

— Тистом эта пэ! (Закрой свой рот!) — прикрикнул на него Мишаня, выйдя из усыпальницы, весь еще во власти молитвы. — Маком кодеш! (Святое место!)

— Так тошно! — откликнулся, не обретая внутренней ответственности, поддавший с утра брадобрей.

Иностранные гости вежливо улыбались. Они воспринимали заморскую речь с уважением, как возрожденный из небытия иврит, родной по звучанию и сокровенному смыслу для пророков и царей древнего иудейского царства. При разгуле фантазии, им могло представиться, что такими необъяснимо красивыми словами «тистом эта пэ!», «по ло киркас», «лехи-лехи...» — «закрой свой рот!», «здесь не цирк», «иди-иди...» Соломон-мудрый обольщал юную Суламифь.

Представиться в воображении им могло что угодно. А в обыденной суе жизни, у спуска в подземное прибежище Иосифа, им представлялся... с протянутой рукой... Махмуд, дальний потомок заегипетского Сфинкса. По его лицу, отмеченному косоглазием и похмельным синдромом, блуждало загадочное выражение, свойственное швейцарам: «не дашь в лапу — не пропущу!» И в лапу ему давали, не осмеливаясь противостоять магнетизму зрителя гробницы. В правую лапу давали... Доллар за долларом... А из левой лапы брали... Свечку за свечкой... И спускались к саркофагу.

Глава десятая

Кладбище себе не выбирают. Как и Родину.

Мое кладбище не знает пределов. Бескрайнее, раскинулось оно от горизонта до горизонта. По лесам, полям, городам и селам. Везде, где жили евреи.

Оно в Испании и Германии.

В России и Украине.

В США и Латвии.

В древнем и современном Израиле.

Мое вечное кладбище строилось из века в век — по единому, замышленному в неизбывном далеке проекту. Кем? Это мне не ведомо. Но зачастую стараниями тех людей, для которых комплекс кладбищенской архитектуры представляет собой одну безымянную могилу. Амалеками всех мастей, наследниками Амана и Торквемады.

Мое вечное кладбище хранит не только выбеленные временем кости предков, но и воспоминания каждого из них — раввина и ремесленника, поэта, артиста, художника, музыканта. Оно подарило мне восприятие жизни и времени, осознание собственного «я», понимание счастья, любви, предназначения.

Мое вечное кладбище не мертво.

Путешествуя по нему, как по времени, я вижу не привидения — людей, предков моих и себя, прежнего, ступающего по заметенной аллейке ко мне нынешнему — к своему, так сказать, будущему, ступающего с некоторой опаской и недоумением: неужели этот, едва проглядывающий в туманной полумгле, седобородый человек — он?

Грядущее в потемках. Не то, что прошлое: оно всегда освещено, хотя подсветка постоянно меняется. Поэтому бывшее воспринимается каждый раз по-иному. И дело не столько в возрасте, сколько в неуловимо-изменчивой точке зрения, вроде бы каждый раз незыблемой и верной.

Выстрой ныне все эти точки зрения по ранжиру, выйдет многозначительное многогочие, иначе говоря — недосказанность.

Доскажем ли?

Я попробую...



Наум Ципис
(г. Бремен, Германия)

БЮСТ В ПОЛНЫЙ РОСТ
(Кавказские новеллы)*



Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

* * *

И чтобы «закрыть» мою кавказскую тему, а заодно, подольше погулять по раздолью своей молодости, еще одну новеллу, теперь абхазскую.

В далекие, теперь уже кажущиеся сказочными времена, мы с молодой моей женой относительно часто проводили отпуск на юге: Сочи, Сухуми, Ялта, Новый Афон, Псырсах... Кто тогда считал: Грузия — Абхазия — все наше, советское. Как ни странно, но наших учительских отпускных хватало даже на то, чтобы из Нового Афона съездить в ресторан в пещере Эшеры по дороге в Сухуми. Однажды решили пообедать в ресторане-корабле, навсегда пришвартованном в сухумском порту. Тогда это была «высокая» экзотика, прямо — «Жора, покачай стол, не могу без моря!».

Сидим, едим шашлык по-карски — кусок сочной баранины, один на всем шампуре,— запиваем молодым красным вином из глиняного кувшина и нахваливаем друг другу вкуснейшую нашу еду... Хорошо жить на свете!

Из-за соседнего столика поднялся юноша, горный орел — шапка черных вьющихся волос, большие черные глаза, тонкие усики, брови вразлет, нос... типичный кавказский нос — стремительно подошел к нам и сказал: «Я вас прошу, пойдемте со мной, пожалуйста...». Наверное, на наших лицах отразилось что-то вроде того: сидим, едим замечательный шашлык по-карски, который в Минске тогда не то, что не едали — не слышали; пьем молодое вино из глиняного кувшина; рядом теплое лазурное море с ослепительной солнечной дорогой аж до Турции, впереди — купание, ужин с домашней настоящей «изабеллой», которую чудака-хозяин, армянский абхазец, выставляет нам каждый вечер в подарок, и за всем этим — ночь... Самое лучшее время суток, самое солнечное... И вот, подходит молодой кавказец и говорит: «Пойдемте со мной...». Правда, говорит он это очень вежливо.

А юноша продолжает в ответ на выражения наших лиц: «Я не могу слышать, как вы хвалите этот кусок мяса, который в этом ресторане называют шашлыком по-карски. Я не могу видеть удовольствие на ваших лицах, когда вы пьете эту жидкость, которую в этом ресторане называют вином, и когда все, что тут есть от вина — это кувшин. В этом ресторане можно кушать только кофе и то, потому что его варит мой дядя. Я прошу оказать мне честь и поехать со мной к моему деду. Там вы покушаете шашлык по-карски и выпьете вино, и мне не будет стыдно за мою Абхазию. Я вас жду у выхода из этого ресторана, моя «Волга» цвета созревшей хурмы». И он ушел.

* Окончание; начало см. в «ПЗ» № 1, 2013, С. 185—196.

Некоторое время мы сидели молча. Оно и понятно. А потом решили: почему не поучаствовать в незнакомом спектакле. Не убьют же нас, когда поймут, что взять нечего. И потом, юноша производил хорошее впечатление, а мы, оба педагоги — вроде научились «читать» людей... Во всяком случае, нам так казалось. Поехали!

Саша-Сандро привез нас в горы в свое селение. Каждый его житель требовал, чтобы гости Самвела, отца Саши-Сандро, зашли в их скромный дом. Сколько было скромных домов, столько было стаканов вина. Потом был общий стол в доме Самвела. Застолье длилось весь вечер и большую часть ночи. Потом нас уложили спать в саду под навесом на широченной лежанке, снизу бурка, сверху бурка — в горах были прохладные ночи и волшебной чистоты воздух.

«Отец,— услышал я голос Саши-Сандро,— они не умеют пить вино Может, мы испортили им ночь любви?» «Сын,— ответил Самвел,— настоящее вино дарит, а не отнимает. Не волнуйся, у них будет ночь любви». И была ночь любви... «Веселись, негритянка!» — так сказал бы об этой ночи директор моего училища, где я тогда преподавал. Так он оценивал высшие достижения человечества.

Утром, после самодельного душа уже можно было ехать вниз к морю, и без настоящего шашлыка по-карски. Казалось, все, что может испытать душа, тело и желудок, было испытано. Но Саша-Сандро так не считал. И его родственники так не считали, и все селение — тоже. После первой похмельной чаши все началось сначала: завтрак в доме Самвела и эстафета по домам родственников, соседей, соседей родственников и родственников соседей... «Саша,— пустился я на уловку,— ты же обещал шашлык по-карски!...» «Еще два дома,— сказал он.— Нельзя обижать. А потом я вас украду, и мы поедем кушать шашлык по-карски». Через два или три дома Саша-Сандро усадил нас в свою «Волгу» цвета созревшей хурмы, и на скорости — за стеклами мелькали возмущенные лица хозяев неогостеванных домов — «у нас традиция: гостя встречают три дня...» — мы вырвались на горную дорогу в сопровождении стаи сельских собак, которые вскоре отстали. «У деда будет легче: вином будем только запивать шашлык, а пить не будем»,— вписываясь в крутой поворот, сказал-утешил наш новый друг.

За время, которое мы добирались до места — «Едем на высокогорные луга, там дед пасет овец» — «Волга» укоротила свой машинный век на несколько лет, мы побывали в роли кукол-неваляшек, Саша-Сандро подтвердил, что является студентом-историком и патриотом Абхазии. Сама дорога была прекрасна, если бы еще по ней идти, а не ехать, но такое восхождение было не для нас, слабоногих горожан. За каждым поворотом лежала новая красота гор и дальнего теперь моря, мрак ущелий и тишина... «Можно ли передать размах земной высоты и земной глубины...»,— Саша-Сандро рассказывал нам о здешних храмах, которым полторы тысячи лет; о том, что значит для республики овцеводство, в чем особенности горного бортничества, на что способны местные горные козлы, когда спасают свою жизнь, о хитростях горной форели и разнообразии здешней растительности...

Неожиданно раздались детские голоса и смех. «Приехали»,— сказал Саша-Сандро, и навстречу машине в плясках и воплях вынеслись три курчавых негритянки загорелых пацана и свора молчаливых первобытных кавказских овчарок. Из хлипкого строения вышел высокий мощный старик, за ним — оказалось, троюродный брат Саши-Сандро — могучий красавец, помощник деда. Саша-Сандро познакомил нас, сообщив историю нашей с ним встречи, и объяснил, зачем привез гостей. «Правильно сделал, внук. Пусть хорошие люди хоть раз в жизни попробуют шашлык и вино, такими, какими их делали наши предки. А вам спасибо, что приняли приглашение моего внука. Вы первые русские люди здесь, на пастбище. К нам в гости ходят только абхазы, волки и Бог. Отдыхайте. Не бойтесь собак: они уже поняли, что вы

гости». Старик что-то гортанно сказал собакам, и они улеглись рядом с людьми. Только мальчишки, ошалеv от неожиданных посетителей, носились вокруг, что-то выкрикивая и кувыркаясь. «Еще маленькие...— пояснил старик.— Правнуки...»

Началось приготовление шашлыка. Приготовление шашлыка... Дед Саши-Сандро принимал участие только в одной операции этого долгого процесса творения одного из самых древних видов первобытной еды на земле с того времени, как люди добыли огонь. Из деревянной неглубокой кадки он доставал большие куски еще вчера и не для нас, а для себя замоченной в винном уксусе баранины, и насаживал их на шампуры, окружая грубо нарезанным луком, помидорами и лимонами. Все это на большой, выдавшей виды доске, нарезал троюродный брат Саши-Сандро, не сказавший ни слова за все время, которое мы у них гостили. Он только кивал головой, когда был согласен и мотал из стороны в сторону, если не соглашался. «Он немой?» — тихо спросил я у Саши-Сандро. «Почему? — удивился он.— Просто не о чем говорить».

Троюродный брат резал много лука, помидоров и лимонов. «Надо, чтобы сок из всего этого капал на угли и в этом запахе чтобы вызревал шашлык», — он так и сказал, Саша-Сандро, — вызревал. Изредка троюродный брат отрывался от резки для пригляда за углями. Когда шампуры с шашлыком были устроены над переливающимся, как драгоценные камни, жаром, старик угостил меня табаком: «Контрабандный. Турецкий. Власть покупает немного. Добавляет в дорогие папиросы и сигареты. Для запаха. Мне еще немного приносят. Контрабандисты. Наверное, уважают. Жаль, папиросная бумага кончилась. Газета портит этот табак. Попробуй».

Табак был хорош. Такого больше не курил. Старик говорил о политике, о том, что глупо людям воевать, потому что это нарушает естественный ход событий на земле: люди умирают раньше срока, не выполнив своего предназначения. Хаос человеческий, накапливаясь, становится хаосом земным: землетрясения рушат города и убивают людей; снег выпадает на цветы, а град убивает овец. «Если война большая и гибнет много людей, земля замедляет ход и становится холоднее. Здесь, в горах, это очень заметно».

Троюродный брат теперь сидел у мангала и переворачивал шашлыки, поливая их лимонным соком. У его ног стояла корзина лимонов, которую принесли правнуки, и он, повернув шашлык, брал лимон в левую руку, правой, в которой был нож, срезал лимонную «попку» и выдавливал сок на мясо. Один лимон — один поворот шампура — один кусок мяса. Через несколько минут все повторялось.

Горьковатый и пряный чад, ароматным вкусным сизоватым маревом плыл от мангала во все стороны: на углях сгорал сок маринованного мяса, лимонов, помидоров, лука... Каждый раз на один полный поворот шампура, гигант-абхаз поливал мясо красным вином, и тогда симфония запахов приобретала еще одну сильную басовую ноту. И каждый раз, когда он увлажнял шашлыки соком или вином; каждый раз, когда его рука заученным движением проходила над истомившимся мясом, будоражающий ноздри жаркий предвосхищающий запах волнами растекался от мангала. Псы на каждую такую волну поднимали огромные лохматые головы и, почти скуля, но без звука, тревожно смотрели в сторону мангала. Старик, понимая их беспокойство, — уж очень сильными были эти запахи для чувствительных собачьих носов, — выговаривал собакам. Что-то вроде такого: вот, у нас гости из далекой Белоруссии, где нет гор и моря, и таких стариков, как я, и таких собак, как вы. И что же подумают о вас наши гости? Они подумают, что вы никогда не видели, как готовят настоящий шашлык; мало того, они могут подумать, что вы здесь голодаете и работаете подневольно. Хорошо ли это? Лежите тихо и воспитанно. Я вас не забыл. Когда мы сядем есть наш шашлык, вы в честь гостей получите немного больше еды, чем обычно. Но вина я вам не дам, ни капли! Иначе, чем же отличается человек от собаки? А? Огромные

свирепые звери, способные противостоять медведю, замирали при звуке этого голоса, преданно глядя в глаза могучему старику, и тихо шевелили хвостами.

Когда шашлык созрел,— это установил дед Саши-Сандро,— из глубокой холодной ямы, укрытой овечьими шкурами, троюродный брат достал бурдюк с красным молодым вином и разлил его по старым щербатым глиняным кружкам, а правнуки принесли и поставили под низкорослую широкополую сосну амфору холодной прозрачной воды из серебряной речушки неподалеку от стана. И тогда старик сказал: «Внук, налей нам всем вина. Пусть оно возрадует наши души и просветлит наш взор. Пусть шашлык утолит наш голод и сделает нас добрее. Пусть наша встреча родит наше уважение друг к другу. Спасибо, внук, за то, что привез гостей. Здравья нам всем и долгой жизни. И — чтобы увидеть счастье правнуков и стать мудрыми!».

И мы выпили вино и попробовали шашлык. Это была настоящая «изабелла». О шашлыке говорить — слова зря потратить: все равно не расскажешь. Это был... Это был Шашлык. Таких мы больше не ели. А бывали мы... Где мы только ни бывали!

Спасибо, Саша-Сандро, мы и не мечтали о таких трех днях в горах. (Еще на один день пришлось задержаться в селении на обратном пути: пришлось выпить по горской чарке в домах, куда мы не заходили.) Спасибо, Саша-Сандро, за шашлык и вино, но незабываемым подарком, как выяснилось со временем, был, конечно, твой дед. Мудрых людей, с которыми довелось посидеть рядом, в моей жизни было немного. Твой дед был одним из них. На таких держатся горы и законы гор. Я не хочу тебя обидеть, конечно, и шашлык, и вино были настоящими, как и все, что нас окружало в твоих родных горах в те счастливые три дня. Сколько лет прошло, а я помню тост твоего деда, и мне хочется пройти хотя бы половину дороги к мудрости и увидеть счастье внука.

С дедом Саши-Сандро я больше не встречался. Хотелось и план был, но что такое желание и планы против жизни... А вот с Сашей-Сандро мы встретились. Много лет спустя, в Абхазии, по дороге от перевала к Сухуми. Такое случается редко, но случается.

Чтобы вы сразу узнали Сашу-Сандро, я сообщу вам такую деталь, в которой раньше не было необходимости: говоря по-русски почти без акцента, он часто неправильно ставил ударение. К примеру, «пожалуйста», «вино», кушайте».

Экономические основы нашей встречи закладывались далеко от Абхазии, даже от Белоруссии далеко. Я уехал в Германию на ПМЖ (уже прижилась эта аббревиатура, как-будто так было всегда...), и там, через год, мне выплатили две тысячи марок за то, что в сорок первом моя семья под бомбами убегала от солдат Гитлера; за среднеазиатскую жару и уральские холода, голодуху и неприкаянность военных лет на чужбине, за временные болячки и болезни на всю жизнь... Взял я эти невиданные для меня деньги, взял через внутренний протест — деньгами ли оплатится? — да и мне ли их получать? — а мамы и отца давно нет на этой земле... Одним словом, взял, понимая, что это — и памятники на родных могилах обновить, и один хоть раз побывать в местах, где прошла моя жизнь, ее годы и минуточки... Так давно и безнадежно мечталось! Наорал на свою совесть и — взял эти марки.

Сначала в Минск, с подарками детям и внукам, потом в Винницу, к батькам, посидеть у могил, проследить, чтобы без халтуры обновили камни и плиты; ну, и потом уже — к морю и к себе, молодому и счастливому...

Один. Жена все поняла. Поехал по местам боевой отпускной и разной другой лихой славы. Конечной точкой для обратного хода выбрал Сухуми. Сговорившись с частником, рванули по старому маршруту. Колесо подвело нас почти у самого ресторана в обновленной Эшере. Выпили мы с «командиром» вина под названием «изабелла», и рассказал я ему, как в этих краях однажды пробовал настоящую «изабеллу». «Пей, что

купил, конечно,— сказал шофер, — Конечно, неплохой «изабэл», но не настоящий. Сегодня настоящий только горы и море. Что хочешь от «изабэл», конечно?»

Допили мы неплохую «изабеллу», и я подумал, что это очень хорошо, что гвоздь в колесо мы поймали именно здесь и не на скорости. Вино настраивало на оптимистический лад. Пока мой «командир» ставил запаску, я гулял и смотрел на горы, здоровался с ними. Второй день как здоровался, и второй день ходил в размягченном состоянии. Курил больше обычного, конечно...

И тут, останавливается белоснежный «мерседес», из него выходит человек, который сразу напомнил мне кого-то, но кого — хоть убей! «Здравствуй, дорогой!» — раскинув руки, на меня шел толстый седой, вроде ставший меньше ростом, Саша-Сандро! Мы обнялись — за нашими плечами взошли солнце и луна тех трех дней и ночей в этих горах...

«Теперь я могу лично передать тебе привет и спасибо деда за посылки с папиросной бумагой и «Беловежской». Дед говорил, что ваша водка тоже настоящая». — «Алаверды, за посылки с мандаринами и чачей!» — «Дорогой, куда едешь?» — «В Сухуми» — «В Сухум?! Зачем? К кому?» — «К себе, к нам, молодым. К памяти еду...» — «Так ты уже приехал, дорогой! Все! Решено!» — он тут же, не дав мне раскрыть рта, расплатился с моим частником, дав ему номинал сверху. — «Хорошего человека вез!» — затолкал меня в свой «мерседес», что-то коротко по-абхазски бросил шоферу и, предупредив жену по мобильнику, что едет с дорогим гостем, прижал меня к себе: «Рассказывай!».

Рассказал. А что рассказывать? Жизнь в словах и за полчаса? О себе Саша-Сандро... Александр сообщил, что женат, растит трех сыновей. «Жена — красавица, сам увидишь... Твоей привет передай: она нам понравилась. Дед сказал: «Такую ищи».

Рассказал, что работает прокурором республики. Вот так. После пединститута в Тбилиси окончил юрфак в Москве, а потом Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Машина летела по дороге, как по тоннелю: слева — вплотную горы, справа — плотная стена зелени, закрывающая близкое море. «Тяжело работать,— жаловался Александр.— Кругом одни взяточники, взяточники, взяточники...»

Мерседес остановился у съезда к морю. «Приехали?».— «Еще нет. Шофер забежит на две минуты, возьмет то-се и поедет дальше. Дома ждут. Шашлык будет. Не такой, конечно, как у деда, но тоже настоящий,— он рассмеялся, и я увидел того, давнего Сашу-Сандро — Я вас прошу, поедemте со мной...»

«Стол ждет. Жена ждет. Дети ждут. Шашлык ждет. Старший сын умеет: я учил». Он заинтересованно спрашивал о моем, откровенно и с удовольствием рассказывал о своем. «Последнее дело, которое я вел...» Сгибаясь под тяжестью двух канистр, появился шофер. Забросив емкости в багажник, он сноровисто сел за руль, показывая, что торопится, старается, и мы помчались дальше. Я вопросительно посмотрел на Александра. «Там, внизу,— ответил он, — маленький коньячный заводик. Надо было взять туда-сюда хорошего коньяка, чтобы встретить хорошего гостя. Люди придут, надо стол делать, да! Так вот, было у меня последнее дело. Трудное... Министр виноват. А что делать? Работать стало невозможно, одни взяточники! Наверное, уйду в адвокаты, да?».

Принимали меня в доме-дворце Александра, как родного. И все то, давнее, как бы на три дня (опять три дня...) вернулось. Но это были три дня, спустя двадцать лет. Время было другое, мы стали другими.

Только море было все тем же, огромным сияющим и ласковым морем моей молодости. А дед Саши — Сандро давно умер.

Йорданка Господинова
(г. Пловдив, Болгария)

ЗАРНИЦА И ВЕТЕР
(Стихотворный цикл)



Йорданка Теофилова Господинова. Родилась в г. Асеновград. Член клуба Пловдивских писателей и поэтов. Автор трех стихотворных сборников. Активная участница и неоднократная победительница поэтических конкурсов. Врач по профессии. Живет в Болгарии. Ее стихи переводят и печатают сайты Интернета.

Высокое, знойное небо.
И быль потерялась, и небыль.
А мне бы ночную прохладу —
накидку ее ощутить.

И дворик почувствовать звездным,
мечтать и понять, что не поздно
поверить, что в болях — услада:
без неба душе не прожить.

И в мареве этого полдня
южане, конечно же, помнят
стареющей липы ограду:
дыханье ветвей не забыть.

Мечтать и делиться стихами.
Все с вами, милейшие, с вами...
Слеза засветилась наградой —
мне мир этот не разлюбить.

В КАФЕ

Растаял лед. Глотками отпиваешь
один свое любимое вино.
Звучащей, тихой музыке внимаешь,
за столиком ты ждешь меня давно.

И долго ищешь грустными глазами:
о наболевшем взгляд твой говорит.
Я прибегала темными ночами —
холодный ветер, дождь ли моросит.

Ты не забыл желанные минуты,
и за собой не чувствовал вины.
Моих терзаний долгие маршруты
твоим желаньем были сочтены.

Скитаясь,— пьешь, в себе не разберешься:
я, как вино, в любом глотке воды.
И никогда, как видно, не уймешься
искать страстей истаявших следы.

Сидишь. Вино глотками отпиваешь.
Улыбки тень мелькнула на устах.
Однажды я приду — ты это знаешь,
что жив в моих надеждах и мечтах.

ПРАЗДНИК СЛАВЯН

Нас ждет с тобой фиалковый рассвет,
густой туман, июльская роса.
В тумане том волшебника портрет
всех позовет в ближайшие леса.

Придет купаний трепетная ночь,
ночь очищений, сказок и надежд
славянский род встречает без одежд,
ты постарайся страх свой превозмочь.

Я побегу сверкающей росой
сквозь заросли маслин и ивняка.
Нагое тело дружит с ключевой
водой, что будем пить из родника.

Сбежим вдвоем. Куда — нам все равно.
В такую ночь, ну, кто нам навредит?
Иван Купала нас благословит,
и Мать-природа с нами заодно.

Славянский праздник 07 июля по новому стилю.

КРЕСТ СТЕПНЯЧКИ

В моей крови — бушующая страсть,
такой огонь, что душу обжигает,
и колесо судьбы моей вращает
ее мятежный зов и воли власть.

Порывисты, горды мои мечты...
Они правдиво-дерзки, неизменны,
как небосвода звездные цветы
светло поют мелодии вселенной.

Зачем степнячку кротостью венчать?
Зачем готовить к постригу? Напрасно.

Она училась жизнь воспринимать
в степном миру, открытом и опасном.

С тобой в заботах трепетных живу.
Не злюсь. Тебе верна и не ревную.
Но помни: если степи позовут,
губами ветер вольный расцелую.

И вот тогда, расправлю два крыла —
и ты поверь,— совсем не для забавы.
Дарить любовь, сгореть в любви дотла —
таков он крест степнячки своенравной.

ЗАРНИЦА И ВЕТЕР

Я людской глазастостью ошпарена —
мне от боли впору закричать.
Как же мне с тобою разговаривать? —
закрываешь ставни по ночам.

Я лечу израненную птицею,
а кругом — ночная тишина.
Ты — мой ветер! Я — твоей зарницею
быть по этой жизни суждена.

Я лечу к тебе! И что огласка мне,
если слезы счастья на щеке?..
От любви не спрятаться, мой ласковый,
за тяжелой дверью на замке.

ТАНЕЦ

Пускай кружится в танце голова.
В движеньях тел изящество и страсть.
Забыто все — отрывисты слова.
Ах, как бы в этом вихре не пропасть!..

Приятен плен объятий рук твоих.
Здесь только мы: в округе мир погас.
Глаза и губы знают лучше нас,
что нужно нам, танцующим двоим.

О, шквальных чувств шальной водоворот!
От слов твоих — осколки невпопад.
Осыплет нас полночный звездопад.
И только утром... утром все пройдет.

И страсть, что от безумства горяча
погаснет, как ночной звезды свеча.

(Перевод Алексея Селичкина, г. Калуга)